роман с жизнью

FreeFly

Жерар де Нерваль

Исповедь Никола

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биографический роман «Исповедь Никола» принадлежит перу Жерара де Нерваля — одного из самых загадочных французских писателей-романтиков. А герой его «Исповеди» — человек не менее яркий, чем сам Нерваль. Это Никола Ретиф де Ла Бретонн (1734–1806), французский романист и драматург, создавший не одну сотню сочинений в самых разных жанрах; не случайно потомки именовали его «Бальзаком XVIII столетия». Ретиф — это бесконечные влюбленности и авантюрные похождения, это удивительное умение выворачивать наизнанку свою душу, это грандиозные литературные предприятия вроде 42-томного цикла «Современницы» (истории знаменитых женщин) или утопического проекта упорядочивания публичных домов «Порнограф». Две уникальные эксцентрические личности объединяются в «Исповеди» в одно целое, даруя читателям удивительную и захватывающую книгу.

- Жерар де Нерваль
  - Часть I
    - ГОЛЛАНДСКИЙ ОТЕЛЬ
    - КТО ТАКОЙ НИКОЛА
    - ГОДЫ ДЕТСТВА
    - ЖАННЕТТА РУССО
    - МАРГАРИТА
    - ОБУЧЕНИЕ РЕМЕСЛУ
    - ВЕНЕРА
    - РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
    - ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
  - Часть II
    - СЕПТИМАНИЯ
    - ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
    - ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: ЗЕФИРА
    - САРА
    - ЖЕНИТЬБЫ НИКОЛА
  - Часть III
    - ПЕРВЫЙ РОМАН РЕТИФА
    - ФИЛОСОФСКИЕ РОМАНЫ РЕТИФА
    - АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕТИФА
    - РЕТИФ-КОММУНИСТ. ЕГО ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ
    - РЕТИФ У МИРАБО

- СТАРОСТЬ РОМАНИСТА
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Жерар де Нерваль
Исповедь Никола

Часть I

ГОЛЛАНДСКИЙ ОТЕЛЬ

Это случилось в июле 1757 года в Париже. В Королевской типографии служил некий молодой человек лет двадцати пяти; он был наборщиком, и все звали его просто Никола, ибо полное имя свое он берег до лучших времен — когда откроет собственное дело либо обретет положение в обществе. Не подумайте, однако, что он был честолюбив; всеми помыслами его безраздельно владела любовь — ради нее он пожертвовал бы даже славой, которой, возможно, был достоин, но так никогда и не добился. Завсегдатаи Французской комедии не могли не заметить в первом ряду амфитеатра узколицего юношу с орлиным носом, смуглой, в частых оспинах кожей и живыми черными глазами, глядящими дерзко и лукаво; сей кавалер был недурен собой, статен, со стройными сильными ногами в хороших башмаках; непринужденные манеры выдавали в нем человека, привыкшего к успеху, и искупали простоту платья, чересчур скромного для зрителя Королевского театра. Это и был наборщик Никола; почти каждый вечер он оставлял большую часть дневного заработка в театральной кассе и самозабвенно рукоплескал шедеврам комического искусства (трагедий он не любил); самый пылкий восторг вызывали у него сцены с участием прелестной мадемуазель Геан, блиставшей в ту пору в «Воспитаннице» и «Обманчивой наружности».

Для натур мечтательных нет ничего опаснее, чем любовь к актрисе: это непрестанное самообольщение, дурной сон, безумный бред. Все существование их сосредоточивается на одной несбыточной цели, и пока они стремятся к ней, они счастливы — но стоит им протянуть руку, чтобы коснуться идола, как грезы рассеиваются.

Никола целый год любовался мадемуазель Геан в призрачном свете рампы, прежде чем решился подойти поближе. В те времена актеры выходили из театра в проулок, ведущий к перекрестку Бюсси. У дверей толпились лакеи, носильщики портшезов и товарищи Никола по несчастью, пылкие и целомудренные поклонники юных актрис: коротышки-приказчики, студенты да робкие поэты, завсегдатаи кафе «Прокоп», успевавшие сложить в антракте мадригал или сонет. Дворяне, судейские, откупщики и газетчики, посещавшие театр когда по билетам, а когда и по приглашениям, не тратили времени даром: после спектакля, к большой зависти незадачливых воздыхателей, они провожали актрис до самого дома.

Сюда-то и зачастил Никола, чтобы — без всякой надежды

быть замеченным — полюбоваться тонкой талией, ослепительным цветом лица и прелестной ножкой красавицы Геан, которая после спектакля садилась в портшез и отправлялась домой. У Никола вошло в привычку незаметно следовать за ней, и он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее провожал. Никола вел себя как совершенный мальчишка — он часами ходил взад и вперед под окнами актрисы, наблюдая за игрой теней на занавесях, — при этом он старался делать вид, будто оказался здесь случайно: ведь бедный юноша из народа, живущий трудами рук своих, даже мечтать не смел о той, что не пускала на порог банкиров и вельмож.

Однажды вечером, выйдя из театра, мадемуазель Геан, против обыкновения, не села в портшез, а пошла пешком об руку с одной из товарок; миновав проулок, девушки впорхнули в ожидавшую их карету и помчались. Никола бросился вдогонку, однако лошади бежали так быстро, что он вскоре выбился из сил: пока карета петляла по улочкам, он еще кое-как поспевал за ней, но вот она покатила по набережным, и Никола начал отставать. По счастью, было темно, и он рискнул вскочить на запятки, — там он перевел дух, в восторге от собственной находчивости, но терзаемый ревностью. Он не сомневался, что карета направляется в какое-нибудь укромное местечко. У невинной «воспитанницы», которой он только что восхищался на сцене, появился таинственный кавалер.

Впрочем, какое право имел он, безумец, все еще находящийся во власти театральной иллюзии, совать нос в ночную жизнь красавицы Геан? И что бы он испытывал сейчас, если бы в тот вечер давали не «Воспитанницу», а «Обманчивую наружность»? Он любил женщину идеальную, у него никогда и в мыслях не было приблизиться к ней. Однако сердце человеческое соткано из противоречий: в тот день Никола впервые почувствовал, что влюблен не в героиню пьесы, но в самое мадемуазель Геан, женщину из плоти и крови. Он полон был решимости проникнуть в одну из ее тайн, если надо, защитить ее — так порой во сне человек вдруг понимает, что видит сон, и во что бы то ни стало хочет пробудиться.

Миновав мосты и покружив по улочкам правого берега, карета въехала во двор какого-то особняка в квартале Тампль и остановилась. Незаметно соскочив на землю, Никола испытал минутное замешательство. Но тут он услышал, как мадемуазель Геан мелодичным голосом сказала своей спутнице:

— Выходи прежде ты, Жюни.

Жюни! Это имя пробудило у Никола смутное воспоминание: так звали некую мадемуазель Прюдом, танцовщицу из

Комической оперы, с которой он — правда, уже довольно давно — познакомился на загородной прогулке. Он сделал шаг вперед, чтобы помочь ей выйти из кареты.

— А, вы тоже приглашены?! — воскликнула она, узнав Никола.

Он хотел ответить, но вдруг почувствовал, как мадемуазель Геан, выходя из кареты вслед за подругой, легонько оперлась на его руку. От восторга Никола потерял дар речи. Драгунский полковник, вышедший встретить дам, увидев его, сказал:

— Мадемуазель Геан, вот один из самых верных ваших поклонников.

Он часто видел Никола в театре и запомнил, с каким жаром молодой человек хлопал красавице актрисе. Мадемуазель Геан обернулась к Никола и, одарив его самой пленительной улыбкой, ласково произнесла:

— Сударь, я рада видеть вас в числе гостей.

Никола стоял как громом пораженный — он впервые услышал, как этот голос, такой знакомый, обращается к нему, впервые увидел, как идол, которому он поклонялся, сходит с пьедестала и хотя мгновение живет и улыбается для него одного. Все же у него достало сил ответить:

— Мадемуазель, я всего лишь скромный поклонник вашего таланта и почту за счастье восхищаться вами и впредь.

У него возникло особое чувство, какое испытывает всякий, кто впервые видит актрису вблизи и понимает, что только теперь ему предстоит узнать эту как будто бы давно знакомую женщину Правда, часто обнаруживается, что субретка лишена остроумия, кокетка — грации, а влюбленная — сердца, не говоря уже о том, насколько свет рампы меняет черты лица! Однако мадемуазель Геан была в жизни еще прелестнее, чем на сцене. Пока она поднималась по лестнице, опершись на руку полковника, Никола стоял как столб, не сводя глаз с ее белоснежной шейки и гибкой талии.

— Что же вы мешкаете, — сказала мадемуазель Прюдом, — дайте руку и идемте.

Никола медленно приходил в себя. По счастью, в тот день на нем была свежая рубашка и почти новый люстриновый сюртук — словом, он был одет вполне пристойно и даже гораздо опрятнее многих других гостей.

— Где мы находимся? — шепотом спросил он у Жюни и, пока они поднимались наверх, объяснил ей, как попал сюда.

Танцовщица расхохоталась:

— Успокойтесь, друг мой, из мужчин будут только принцы да поэты, как говорит господин Вольтер; здесь собирается

смешанное общество… Вы часом не принц?

— Я потомок императора Пертинакса, — с серьезнейшим видом отвечал Никола, — моя родословная, составленная по всей форме, хранится в Бургундии, в Нитри, у моего деда.

Жюни ничуть не удивилась:

— Ну что ж! Жаль, конечно, что вы не поэт, — прочли бы за десертом что-нибудь веселенькое. Но не беда! Принц — тоже неплохо, тем более что вы со мной.

— Но где мы все-таки находимся?

— В Голландском отеле, в гостях у венецианского посланника.

Они вошли в залу, ту самую, которую Бомарше потом сделает бильярдной. Никола, лишь несколько месяцев назад приехавший в Париж и обедавший только в Поршеронах, был ошеломлен великолепием стола. Впрочем, он держался с таким достоинством, что мог смело появляться в любом обществе, — гости удивлялись единственно тому, что молодой человек никому из них не знаком — ведь сюда допускались только светские и литературные знаменитости. Дамы были сплошь актрисы: мадемуазель Гюс, острая на язык и задорная, но не такая красивая, как мадемуазель Геан, мадемуазель Алар, в те времена стройная и легкая, мадемуазель Арну, уже прославившаяся в роли Психеи в «Пафосских празднествах», юная Розали Левассер из Итальянской комедии, пришедшая в сопровождении щеголеватого аббата, мадемуазель Гимар и Камарго-вторая, прима-балерина Французской комедии. Соседкой Никола слева оказалась госпожа Фавар. Но даже в обществе стольких знаменитых красавиц он не замечал никого вокруг и не сводил глаз с мадемуазель Геан, сидевшей на другом конце стола рядом с драгунским полковником. Жюни стала донимать его расспросами. Пришлось поведать ей историю своей страсти.

— Плохи мои дела, — сказала она со смехом, — ведь у меня нет другого кавалера. Но я вас прощаю, вы меня славно позабавили.

После ужина Розали Левассер, обладавшая восхитительным голосом, исполнила несколько песенок из комических опер; мадемуазель Арну порадовала всех арией «Бледные огни»; мадемуазель Гюс сыграла сцену из Мольера; госпожа Фавар спела ариетту из «Служанки-госпожи»; Гимар, Алар, Прюдом и Камарго-вторая исполнили падекатр из балета «Медея»; мадемуазель Геан сыграла сцену с письмом из «Воспитанницы». Затем настал черед поэтов: каждый прочел стихи или спел песню собственного сочинения. Надвигалась ночь; самые известные литераторы, самые именитые гости, одним словом, люди серьезные, уже

разошлись. Обстановка стала более непринужденной; Грекур прочел одну из своих сказок, Роббе — сатиру на принца Конти, который предложил ему двадцать тысяч ливров за то, чтобы он ее не печатал. Пирон продекламировал стихи, отмеченные печатью века, не уважающего ничего, даже любви. Слушатели еще пребывали во власти этих неистовых строк, когда госпожа Фавар обратилась к своему соседу справа:

— Теперь ваш черед!

Никола смешался; в этот миг красавица Геан устремила на него свой взор, и он смутился еще сильнее. Желая ободрить его, она с божественной улыбкой спросила:

— А вы, сударь, чем нас порадуете?

— Это юный принц! — воскликнула Жюни. — От него нет никакого проку, он ничего не умеет… Это потомок императора Пер… Пер…

Никола покраснел до ушей.

— Пертинакса. Вот! — выговорила наконец Жюни.

Венецианский посланник нахмурился: он не очень-то верил в потомков римских императоров; отпрыск рода Мочениго, занесенного в золотую книгу Венеции, он кичился тем, что знает все великие имена Европы. Никола понял, что необходимо объясниться, иначе его сочтут бахвалом. Он встал и начал излагать историю своего рода; он рассказал, как сын Пертинакса, преемника Коммода Гельвия, спасся от смерти, которой грозил ему Каракалла, и укрылся в Апеннинах; там он взял в жены Дидию Юлиану, дочь императора Юлиана, также подвергавшуюся преследованиям. Щеголеватый аббат, сопровождавший Розали Левассер, мнил себя человеком ученым; услышав это утверждение, он недоверчиво покачал головой, в ответ Никола процитировал на чистейшей латыни брачный контракт супругов и массу других документов. Аббат признал себя побежденным, а Никола педантично перечислил потомков Гельвия и Дидии вплоть до Олибрия Пертинакса, королевского ловчего, жившего во времена Хильперика, после чего назвал еще множество Пертинаксов, среди которых кого только не было: и купцы, и прокуроры, и мелкие чиновники, — так он добрался до потомка императора Пертинакса в шестидесятом колене Никола Ретифа, чье имя является переводом имени его предка, вошедшим в употребление с тех пор, как официальные бумаги стали составлять на французском языке.

Никто не стал бы слушать этот долгий перечень, если бы не пояснения Никола, превращавшие его родословную в пародию на родословные вообще. Поэты и актрисы хохотали от души; вельможи, желая показать себя людьми широких взглядов,

сделали вид, что не обиделись на явную насмешку; одним словом, живость и остроумие рассказчика покорили всех. Никола так увлек слушателей историями из жизни своих прославленных предков, что, когда дошел до самого себя, все стали наперебой просить его продолжить рассказ. Он согласился поведать историю своей первой любви. Несколько чванливых гостей, начинавших досадовать на успех Никола у дам, тихо удалились, так что теперь на юношу были устремлены только внимательные и дружелюбные взоры. Исповеди тогда были в моде. Никола изливал душу пылко, бурно, не без толики простодушной безнравственности, восхищавшей непритязательных слушателей; но когда рассказ дошел до кульминации, в нем зазвучала неподдельная страсть и все увидели истинную натуру рассказчика, благородство и искренность его чувств; он сумел глубоко взволновать легкомысленное общество и пробудить в падших сердцах воспоминания о чистой любви юных лет. Даже мадемуазель Геан, столь же холодная, сколь и прекрасная, и вдобавок слывшая неприступной, поддалась обаянию молодого человека с такой нежной и чувствительной душой. В конце рассказа, когда голос у Никола задрожал, а на глазах показались слезы, она воскликнула:

— Возможно ли это? Бывает ли такая беззаветная любовь?

— Да, сударыня, — отвечал Никола, — этот рассказ не менее правдив, чем предыдущий… Особа, которую я любил, была похожа на вас, во всяком случае чертами лица и улыбкой, и лишь преклонение перед вами может утешить меня в моей утрате.

Наградой ему были громкие рукоплесканья. Люди восторженные утверждали даже, что перед ними талант более яркий, чем Прево д’Экзиль, более нежный, чем Арно, более серьезный, чем Кребийон-сын, и вдобавок знающий жизнь лучше любого из этих писателей. Так скромный наборщик разом получил признание прославленных литераторов, прославленных остроумцев и прославленных красавиц своего времени. Отныне его карьера в свете зависела только от него самого. А между тем в его речах не было ни слова лжи; он действительно считал себя потомком императора Пертинакса и действительно любил женщину, умершую несколько месяцев назад. Но свято место пусто не бывает, и, хотя рана еще не зарубцевалась, идеальное и поэтическое чувство к мадемуазель Геан постепенно овладело его душой.

Ужин закончился весьма необычно — впрочем, в те времена ночные сборища часто кончались подобным образом. По сигналу слуги погасили свечи, и в темноте началась игра, напоминающая жмурки; по-видимому, в этом и заключалась соль праздника, во

всяком случае для посвященных. Каждый имел право проводить ту даму, которую поймает в потемках. Любовники заранее договаривались, как опознать друг друга, поскольку правила игры запрещали изменить выбор, пусть даже совершенно случайный. Никола неожиданно почувствовал, как кто-то берет его за руку и отводит в сторону; тут он ощутил прикосновение другой руки, нежной и трепетной: это была рука мадемуазель Геан, просившей проводить ее. Когда они спускались по потайной лестнице во двор, он услышал возглас Жюни:

— Придется мне пожертвовать собой и утешить полковника.

КТО ТАКОЙ НИКОЛА

Тридцать лет спустя случай вновь привел нашего героя, известного теперь под именем Ретиф де Ла Бретонн (ибо к фамилии своего отца — Ретиф — он присоединил название родительской фермы Лабретонн), на старинную улочку Тампль в Голландский отель, владельцем которого ныне стал Бомарше. Судьбы героев предыдущей главы сложились по-разному. Венецианский посланник был казнен по приговору Совета десяти как шпион и мошенник, в свете его не любили, и никто о нем не жалел; красавица Геан очень скоро умерла от чахотки, и Никола долго оплакивал ее. Сам же он из бедного наборщика превратился в опытного типографа, сочетающего труд ремесленника с деятельностью литератора и философа. Прежде чем встать за наборную кассу, он снимал бархатный камзол и отстегивал шпагу. Впрочем, набирал он лишь собственные произведения, а сочинял он столько, что не успевал писать от руки: стоя перед кассой, с горящими глазами, он литера за литерой складывал на верстатке вдохновенные, испещренные ошибками строки, которые поражали читателя необычной орфографией и намеренной эксцентричностью. Он имел привычку использовать в одном произведении разные шрифты в зависимости от смысла высказывания. Цицеро помогал ему выразить страсть, подчеркнуть эффектные места, боргес как нельзя лучше подходил для плавного повествования и моралистических рассуждений, петит позволял уместить на одной странице множество скучных, но необходимых подробностей. Иногда Никола вдруг извещал читателя, что ему заблагорассудилось обновить существующую орфографию, после чего продолжал главу либо на арабский манер, опуская часть гласных, либо внося полный разброд в согласные: заменял *б* на *п*, *з* на *с*, *д* на *т* и так далее, сообразуясь с правилами, которые весьма пространно излагал в примечаниях. В другой раз он решал, как в латыни, обозначать краткие и долгие слоги — и набирал часть слова заглавными буквами или петитом, кроме того, он любил выделять гласные, расставляя где надо и где не надо надстрочные знаки. Однако ни одна из его причуд не обескураживала бесчисленных читателей «Совращенного поселянина», «Современниц» и «Парижских ночей»; автор их вошел в моду, успех его произведений, выходивших полутомами, может сравниться только с успехом, который с недавнего времени приобрели романы-фельетоны. У них много общего: стремительное повествование, перебиваемое диалогами, с

претензией на драматичность, затейливое переплетение событий, множество человеческих типов, написанных крупными мазками, нагромождение надуманных, но напряженных ситуаций; пристрастие к самым испорченным нравам, самым непристойным зрелищам, какие только существуют в крупном столичном городе в развращенный век; у Ретифа все это было вдобавок щедро сдобрено душеспасительными рассуждениями, философическими максимами и планами общественного переустройства, обличающими несомненный, хотя и сумбурный гений, за который его прозвали Жан-Жаком для бедных.

Хотя для бедных, но все-таки Жан-Жаком! Меж тем Ретиф был, пожалуй, лучше своих книг. Он обладал воображением прихотливым и разнузданным, но намерения у него были добрые. Ночами он часто бродил по улицам, заходя в грязные притоны, в логова мошенников, когда просто из любопытства, когда ради того, чтобы помочь несчастным и помешать свершиться злодейству. Он взял на себя роль Педро Справедливого не по праву королевской крови, но по долгу писателя-моралиста. В свете он хотел быть ангелом-хранителем чужого благополучия: мирил рассорившихся родственников, искал для обездоленных богатых покровителей. Он гордился, что во время ночных прогулок ему не раз случалось утешить и ободрить страдальца, спасти девушку от позора и оскорблений: за одно это ему стоит простить большую часть ошибок и заблуждений. Ретиф известен прежде всего как романист; но помимо романов он оставил несколько томов философских, воспитательных и даже политических сочинений, которые, правда, не стал подписывать полным именем. «Философия господина Никола» содержит целую пантеистическую систему, где автор, по примеру философов своей эпохи, пытается осмыслить появление мира и людей как цепь сотворений или, вернее, самозарождений; Фурье в своей космогонии многое позаимствовал из этой системы, близкой ему по духу. В вопросах политики и морали Ретиф коммунист. «Собственность — источник всяческих пороков, всяческих преступлений, всяческого разложения», — утверждает он. Свои планы переустройства общества он пространно изложил в трактатах «Андрограф», «Гинограф», «Порнограф» и других, откуда видно, что нынешние мыслители не сказали по этому поводу ничего нового. Те же идеи легли в основу большей части его романов. Во втором томе «Современниц» описан обменный банк, который устраивают работники и торговцы, живущие на одной улице, словно в фаланстере.

Вернемся, однако, к биографии этого самобытного человека; он рассеял ее подробности во множестве произведений, где

изобразил себя под вымышленными именами, — позже он дал к ним ключ. Ретифу пришла в голову странная мысль — показать главные события своей биографии как бы в свете волшебного фонаря; в цикле пьес и диалогов, озаглавленном «Драма жизни», читатель видит его с ранней юности и до резни 2 сентября, которая так его удручила.

В другой книге, «Тайны человеческого сердца», Ретиф подробно описывает все переживания своей многотрудной и многострадальной жизни. До него только пять человек имели смелость описать самих себя: Блаженный Августин, Монтень, кардинал де Рец, Джероламо Кардано и Руссо, — причем только двое последних были к себе совершенно беспощадны. Ретиф, быть может, пошел в этом еще дальше. «Как англичане продают свой костяк, — говорит он, — так я в шестьдесят лет, задавленный долгами, изнуренный недугами, вынужден предавать огласке свою частную жизнь ради того, чтобы прокормить себя лишние несколько дней».

Читая это признание — скольких мучений оно, должно быть, стоило Ретифу, — мы чувствуем жалость к бедному старику, который на пороге смерти, с мужеством и силой отчаяния, извлекает на свет грехи молодости и пороки зрелого возраста, да еще, быть может, преувеличивает их, дабы угодить испорченному вкусу своих современников, чьи кумиры — Фоблаз и Вальмон. Впоследствии этим реалистическим приемом, превращающим человека в предмет анатомических штудий, стали злоупотреблять — мы же воспользуемся им для изучения характера, который себялюбие доводит до самых прискорбных заблуждений и самых немыслимых признаний. Мы попытаемся рассказать о жизни этого странного человека совершенно непредвзято, опираясь на сведения, исходящие от него самого; исповедь его поучительна: она показывает, как Провидение карает человека за его грехи. Наш век не менее падок до мемуаров и исповедей, чем век минувший; однако в простоте и искренности нынешние писатели сильно уступают своим предшественникам. Впрочем, любопытно было бы узнать, идет ли правдивость на пользу роману или во вред.

ГОДЫ ДЕТСТВА

Деревушка Саси на границе Шампани и Бургундии в пятидесяти лье от Парижа и в трех от Осера состоит из одной-единственной улицы с сотней домов по каждой стороне. На краю деревушки, у так называемых Верхних ворот, за ручьем Фарж, на фоне леса и зеленых холмов белеет ограда фермы Лабретонн. Там родился Никола Ретиф, чей дед, человек образованный, принадлежавший к судейскому сословию, считал себя потомком императора Пертинакса. Правда, генеалогическое древо, которое он нарисовал в доказательство этого родства, было, по всей вероятности, просто выдумкой, насмешкой над претензиями иных соседей-дворян, приезжавших к нему в гости. Так или иначе, семья Ретифов славилась в округе и достатком, и родственными связями: из нее вышло несколько священников; Никола поначалу тоже хотели определить по духовной части, но его независимый и даже диковатый нрав долгое время препятствовал этому намерению. Больше всего на свете он любил бродить с пастухами по лесам Саси и Нитри, любил суровую кочевую жизнь. Когда ему было лет двенадцать, произошел случай, еще сильнее привязавший его к пастушескому делу. Пастух его отца по имени Жако вдруг, никого не предупредив, отправился в паломничество на гору Сен-Мишель. Местные молодые люди почитали ее священной, и юноша, который не побывал там, слыл трусом. Для девушек святым местом была могила прекрасной королевы Алисы, девы из дев, и всякая честная девушка спешила поклониться ей. Когда Жако ушел, стадо осталось без присмотра. Никола сразу вызвался заменить пастуха. Родители колебались: ребенок еще мал, а в округе рыщут волки; но рабочих рук на ферме не хватало, да и Жако ушел всего на две недели — так что в конце концов Никола доверили стадо.

И вот настал первый день свободы — какая радость! Какое блаженство! На рассвете Никола выходит из дому, за ним бегут три огромных пса — Пенсар, Робийяр и Фрике. Два самых сильных барана несут на спинах провизию на весь день, бутылку воды, подкрашенной вином, и хлеб для собак. Наконец-то Никола свободен, на-конец-то он сам себе хозяин! Он дышит полной грудью; он впервые чувствует, что живет… Белые облака, плывущие по небу, трясогузка, прыгающая на пригорке, осенние цветы без листьев и запаха, однозвучное пение птички-каменки, зеленые луга в утренней дымке погружают его в сладостные грезы. Проходя мимо куста, где два месяца назад они с Жако нашли гнездо коноплянки, он думает о бедном пастухе и об

ожидающих его опасностях. На глаза Никола наворачиваются слезы, воображение разыгрывается, и он пытается — впервые в жизни — сложить стихи на мотив песни, которую пели нищие, шедшие в собор Святого Якова.

Идет на поклоненье Жак
К святому Михаилу.
«Да не вредит в пути мне враг!» —
Взывает к Рафаилу.

Дружок его овец пасет,
Доит их на закате;
А Жака шаткий мост ведет
К небесной благодати[1].

Так Никола ступил на опасный путь. Он неверно истолковал свою любовь к уединению: то была любовь не пастуха, но поэта. Бедные овцы — он заводит их в самые дикие и голодные места. Его влечет к развалинам часовни Святой Магдалины, и он вновь и вновь возвращается сюда, убеждая себя, что приходит собирать ежевику, но настоящая причина в другом — это место навевает на него тихую грусть. Никола осмелел. За лесом Бупарк, неподалеку от виноградников Монгре, есть темная лощина, поросшая высокими деревьями. Поначалу мальчик боялся туда ходить; он вспоминал истории о грабителях и вероотступниках, превратившихся в животных, которые рассказывал ему Жако. Но его подопечные оказались не так пугливы и спустились в лощину. Козы прыгали от куста к кусту, овцы щипали траву, а свиньи рыли землю, ища дикую морковь, которую крестьяне называют *морковник*. Никола следил, чтобы они не забирались чересчур далеко; неожиданно он заметил под дубом большого черного кабана, который, решив порезвиться, присоединился к своим более цивилизованным сородичам. Юный пастух затрепетал от радости и ужаса — появление дикого зверя сделало местность еще притягательнее. Никола притаился за кустом, стараясь не шевелиться. Невдалеке на лужайке появилась косуля, вслед за ней выскочил заяц; на одну из больших груш, плоды которых крестьяне называют медовыми, сел удод. Мечтатель уже видел себя в стране фей; вдруг из чащи выбежал волк — рыжеватая шкура, острая морда, горящие, как угли, глаза… Собаки набросились на него — и прощай все чудеса: косуля, заяц и кабан! Даже удод, соломонова птица, и тот улетел; но, как добрая фея, оставил на память о себе дерево с медовыми грушами, такими нежными и сладкими, что их любят даже пчелы. Мальчик

набил карманы этим лакомством, чтобы угостить братьев и сестер.

Поразмыслив, Никола сказал себе: «Лощина ничья… Пусть она будет моя, я буду ее хозяин; отныне это мое маленькое царство! Надо воздвигнуть здесь памятник, чтобы закрепить свои права, — так все делают в Библии, которую читает отец». Несколько дней он строил пирамиду. Когда она была закончена, он опять подумал о Библии, и ему пришло на ум принести жертву. «Я свободный человек, — решил он, — и мне никто не нужен; я могу сам быть королем и жрецом, судьей и пастухом, хлебопеком, землепашцем и охотником». И он отправился на поиски жертвы; подбив из пращи пчелоеда, он осудил эту хищную птицу, смущающую покой гостей лощины, на смерть. Если бы он был взрослым и знал учение о всеобщей гармонии, согласно которому хищники приносят пользу, весьма возможно, он поступил бы по-другому. Так что не будем порицать его за это ребячество; отметим только, что наш мечтатель с самого детства был не чужд мистики[2]. Однако для совершения религиозного обряда требовались свидетели. В полдень тягловый скот отпускают попастись после утренних работ. Никола дождался этого часа и кликнул пастухов, проходивших вдали:

— Идите, скорее идите сюда, — кричал Никола, — я покажу вам *мою* лощину, *мое* грушевое дерево, *моего* кабана и *моего* удода. (Впрочем, ни кабан, ни удод так и не соизволили показаться.) Никола объяснил, что, поскольку он открыл лощину, лощина эта принадлежит ему, и в доказательство продемонстрировал пирамиду и алтарь. Все признали его права вполне законными. Потом началась церемония: подожгли охапку хвороста и, как велит Священное Писание, бросили в огонь внутренности жертвы, после чего Никола положил в костер тушку птицы и прочел молитву собственного сочинения, сопроводив ее несколькими стихами из псалмов. Он совершил обряд со всей подобающей торжественностью: когда птица изжарилась, он разделил ее мясо между присутствующими и первым попробовал свой кусок — вкус был отвратительный. Мясо пчелоеда понравилось только собакам — они с радостью набросились на остатки священной трапезы.

Кто бы мог подумать, что сей убежденный собственник станет таким рьяным *коммунистом*, что идеи его приобретут столько сторонников в революционную эпоху! Но до этого еще далеко, а пока у новоявленного землевладельца нашлись завистники среди местных пастухов; тайна его была раскрыта, жертвоприношение сочтено святотатством, и аббат Тома, единокровный брат Никола, который жил в нескольких лье от Саси, приехал в Лабретонн,

чтобы собственноручно высечь юного еретика; аббат объяснял свою суровость тем, что, будучи крестным отцом виновного, он в ответе перед Богом за его грехи. Бедняга и не подозревал, как опрометчиво поступает, беря на себя эту ответственность. У Никола было два старших брата — дети отца от первой жены; оба нечасто навещали родных; один был кюре в Куржи, другой — аббат Тома — наставником у янсенистов в Бисетре и приезжал домой только на каникулы. В тот год он возвратился в Бисетр не один: его попечению вверили юного брата, которого пора было наконец научить уму-разуму. В Осере они сели на кош[3]. Аббат Тома был рослый, сухощавый детина с длинным желчным лицом, лоснящейся веснушчатой кожей, орлиным носом и фамильными бровями Ретифов, густыми и черными как смоль. Нрава он был сдержанного, но под внешним спокойствием бушевали страсти, и лишь железная воля и упорство помогли ему смирить пылкую натуру. Как только братья добрались до Бисетра и Никола присоединился к другим детям, аббат Тома словно забыл, что мальчик ему не чужой. Вступив в длинные сводчатые коридоры монастыря-тюрьмы и оказавшись среди всех этих, как он их называл, маленьких кюре, Никола затосковал по дому. Однообразие церковных служб наводило на него скуку; в библиотеке были лишь книги янсенистского толка: «Письма к провинциалу» Паскаля, «Опыты» Николя, «Жизнь и чудесные деяния дьякона Париса», «Жизнь господина Тиссара», — они тоже не занимали мальчика. Зато позже он будет с признательностью вспоминать уроки янсенистов. Паскаль, Расин и многие другие ученики янсенистов, считал он, обязаны своей прозорливостью, рассудительностью, глубиной проникновения в суть предмета и чистотой произношения Пор-Руаялю, и это тем более замечательно, что иезуиты взрастили только Аннатов, Коссенов и им подобных. Серьезные, вдумчивые янсенисты, в отличие от молинистов, с ранних лет учили своих питомцев мыслить напряженно и последовательно; они не давали воли их страстям, которые от этого, впрочем, разгорались лишь сильнее; привыкнув рассуждать логически, ученики янсенистов становились либо преданными слугами господними, либо дерзкими философами. Молинисты не были так строги, они не считали, что человек должен всечасно помнить о Боге и трепетать при каждом своем шаге, при каждом изъявлении воли, но, менее склонные к размышлениям, более терпимые, поверхностные молинисты много чаще приходили к безразличию, чем янсенисты к безбожию.

Между тем в Бисетре назревали перемены. Покровитель янсенистов архиепископ Жиго де Бельфон умер, его сменил

Кристоф де Бомон. Он назначил нового ректора, который со дня своего вступления в должность косо смотрел на наставников янсенистов. Этот чужак был человек вспыльчивый и недобрый; он пожелал ознакомиться с библиотекой; при виде полемических сочинений, которые аббат Тома, гордившийся своими убеждениями, и не собирался от него прятать, он нахмурился и сказал, что таким книгам не место в библиотеке для детей.

— Никогда не рано познать истину, — отвечал аббат Тома.

— Уж не собираетесь ли вы учить меня?! — возмутился ректор.

Оскорбленный наставник замолчал. Ученики наблюдали эту сцену с присущим детям злорадством. Просматривая книги, ректор наткнулся на Новый Завет с комментариями Кенеля.

— Да ведь это запрещенная книга! — вскричал он и с отвращением швырнул ее на пол.

Бедный аббат Тома смиренно поднял ее и поцеловал место, куда она упала.

— Вы, вероятно, забыли, — сказал он, — что в ней содержится полный текст Евангелия.

Ректор в гневе хотел отобрать у воспитанников все экземпляры Нового Завета. Аббат Тома возвысил голос.

— Господи! — воскликнул он. — У детей Твоих отнимают слово Твое!

На сей раз ученики были на его стороне. Никола, набравшись храбрости, подошел к ректору и сказал:

— Мой отец, которому я больше верю, чем вам, говорил мне, что это завет Иисуса Христа.

— Твой отец гугенот, — отвечал ректор.

Слово «гугенот» в те времена было таким же бранным, как «безбожник». Два местных священника пытались примирить спорящих, но тщетно; аббат Тома почувствовал, что пора ему искать другое место. И правда, через несколько дней его предупредили, что уже подписан указ об изгнании янсенистов. Он не стал ждать, пока его отстранят от должности. Детей отослали домой, а их наставник вместе со своим помощником и Никола отправился в Саси.

ЖАННЕТТА РУССО

Возвращаясь в родные места, Никола трепетал от радости; когда на горизонте показались холмы Кот-Грель, сердце его забилось сильнее, а из глаз хлынули слезы. Вскоре он увидел Ванданжо, Фарж, Триомфэ, наконец, Бупарк, за которым находилась его лощина. Он хотел поделиться своими чувствами с аббатом Тома и начал с упоением перечислять местные красоты, но брат перебил его:

— Наверно, все это очень трогательно, раз вы плачете, но мы уже в двух шагах от Саси, давайте-ка лучше прочтем молитву.

Аббат Тома чувствовал себя в отчем доме неуютно и поспешил отвезти Никола в Куржи к старшему брату, кюре, чтобы тот обучил мальчика латыни. Вскоре басни Федра и эклоги Вергилия открыли воображению юноши новый пленительный мир. По воскресеньям и в праздники церковь наполнялась толпой девушек, и он украдкой поглядывал на них. Судьба его решилась на Пасху. Звуки органа, запах ладана, пышность церемонии воспламенили душу Никола и одурманили его мозг. С началом проскомидии девушки в нарядных платьях стали подходить к причастию; вслед за ними шли их матери и сестры. Шествие замыкала высокая, красивая и скромная девушка; бледность лица еще больше подчеркивала румянец невинности, пылавший на ее щеках; она была одета с большим вкусом, чем ее подруги; осанка ее, убор, красота, нежный цвет лица — все воплощало идеальный образ, живущий в душе каждого юноши. Когда служба кончилась, Никола вышел следом за красавицей. Поступь ее была легка, как у античных граций. Встретив экономку кюре Маргариту Парис, она остановилась.

— Добрый день, мадемуазель Руссо, — с этими словами Маргарита поцеловала девушку.

«Теперь я хотя бы знаю, как ее зовут», — подумал Никола.

— Дорогая Жаннетта, — добавила Маргарита, — вы сущий ангел.

«Жаннетта Руссо! — подумал Никола. — Какое дивное имя!»

Девушка произнесла в ответ несколько слов мягким чистым голосом, звук которого совершенно пленил Никола[4].

Отныне все помыслы Никола были устремлены к Жаннетте. Он искал ее до самого вечера, но вновь увидел, только когда раздались звуки «Magnificat» и все, кто стоял на клиросе, повернулись к нефу Назавтра чувство Никола лишь окрепло; он дал себе клятву прилежно учиться, дабы стать достойным Жаннетты; с этого дня ум его стал развиваться; беззаботное

детство кончилось. Однажды, когда кюре с аббатом Тома пошли поглядеть, как идет сев, и Никола остался дома один, он решил поискать в приходской книге запись о крещении Жаннетты, чтобы доподлинно узнать, сколько ей лет; самому ему в ту пору исполнилось пятнадцать, похоже, что Жаннетта была старше. Он начал с 1730 года и вскоре с великой радостью обнаружил следующую запись: «19 декабря 1731 года родилась Жанна Руссо, законная дочь Жана Руссо и Маргариты и т. д.». Никола перечитал эти строки раз двадцать, пока не выучил наизусть все, вплоть до имен свидетелей и крестных, и прежде всего дату 19 декабря, которая стала для него священной.

Одна-единственная мысль омрачала его радость: Жаннетта старше его на три года и, быть может, выйдет замуж прежде, чем он сможет просить ее руки. Никола знал, где она живет, и дни напролет проводил в долине у ручья Фонтен-Фруад, где среди тополей стоял дом ее отца; он по-дружески здоровался и прощался с каждым деревом и под вечер возвращался домой, погруженный в меланхолические любовные грезы.

Но полнее всего Никола ощущал очарование своей избранницы там, где она явилась ему впервые, — в церкви. Пытаясь примирить веру с любовью, он без конца повторял: Unam petii a Domino, et hanc requiram omnibus diebus vitae meae! (Одну просил я у Господа, ту только ищу во все дни моей жизни!) Наполняя эту молитву новым смыслом, он получал несказанное наслаждение. Звонарем в церкви был крестьянин, работавший на винограднике. Никола вызвался заменять его — теперь он приходил в церковь спозаранку и, пока никто не видел, бежал к той скамье, на которой обычно сидела Жаннетта, преклонял колена в том же месте, где она, целовал плиты пола, по которым ступала ее ножка, и читал свою любимую молитву.

Лето в тот год было засушливое, и в один из дней аббат Тома послал Никола вместе с певчим по имени Юэ за водой для приходского сада к колодцу господина Руссо. Но у колодца не оказалось веревки. Что делать? Юэ увидел Жаннетту и хотел попросить у нее веревку. Трепеща от подобного святотатства, Никола оттащил мальчишку за полу. Говорить с ней, с ней!.. Он весь дрожал — нет, не от ревности, а от возмущения. Однако Жаннетта сама догадалась, в чем дело, и принесла веревку; пока девушка помогала Юэ привязывать ее, она несколько раз дотронулась до его руки; Никола не завидовал товарищу: прикосновение ее нежной ручки обожгло бы его огнем. Он пришел в себя только после ухода Жаннетты и только тогда заметил, что девушка не сказала ни ему, ни его товарищу ни одного слова, а проходя мимо него, потупилась. Неужели она

заметила, что в церкви он все время смотрит на нее? Как бы там ни было, благочестивая прихожанка мадемуазель Друэн не преминула сообщить экономке кюре, что Никола во время проповеди не сводит глаз с мадемуазель Руссо. Маргарита из лучших побуждений передала ее слова молодому человеку, уверяя, что чувства его ни для кого не секрет.

МАРГАРИТА

Маргарите Парис, экономке куржийского кюре, было под сорок, но поскольку она была женщиной набожной и вдобавок никогда не знавшей ни в чем нужды, она выглядела моложе. Одевалась Маргарита со вкусом и делала такую же прическу, как Жаннетта Руссо. Туфли на высоком каблуке, которые она выписывала из Парижа, и бумажные чулки с длинными голубыми стрелками подчеркивали стройность ее ног. Был праздник Успения, стояла жара; после вечерни экономка переоделась в белое. Мальчики-певчие играли во дворе, аббат Тома был в церкви, Никола сидел за столом у окна и учил латынь; Маргарита в той же комнате перебирала салат; время от времени юноша поднимал глаза от книги и следил за мельканьем ее рук, продолжая думать о Жаннетте. Воспоминание о недавней встрече Маргариты с Жаннеттой объединяло в его представлении этих двух женщин.

— Сестра Маргарита, — спросил он, — а правда, что мадемуазель Руссо богата?.. Я говорю про дочку нотариуса…

От удивления Маргарита оставила салат и подошла к Никола:

— Почему вы меня об этом спрашиваете, дитя мое?

— Потому что вы знакомы с ней… а мои родители, верно, порадовались бы, если бы я женился на богатой…

Хитрость школяра, пытающегося примирить свою платоническую страсть с сыновней почтительностью, не укрылась от экономки; но, вспомнив одну давнюю историю, она расчувствовалась, села рядом с Никола и с горестными вздохами поведала ему, что когда-то господин Руссо, отец Жаннетты, просил ее руки, но получил отказ.

— Так что, — сказала она, — я люблю эту красивую девушку — ведь она могла быть моей дочерью… И мне жаль вас. Если бы я могла помочь вам, я поговорила бы с ее родителями и с вашими; но вы слишком юны, она на целых три года старше вас…

Никола зарыдал и бросился на шею Маргарите; слезы их смешались, хотя ни женщина, ни мальчик не сознавали, что причина их волнения не столь уж невинна… Маргарита опомнилась первой и встала; она густо покраснела и глядела сурово, но тут Никола, сжимавший ее руки, едва не лишился чувств. Экономка смягчилась, обняла его, брызнула ему в лицо водой и, когда он пришел в себя, спросила:

— Что с вами?

— Не знаю, — отвечал Никола, — когда я говорил о

Жаннетте, а глядел на вас, я вдруг почувствовал, как сердце мое куда-то проваливается… Я не мог отвести глаз от вашей шеи, от растрепавшихся волос. Ваши мокрые от слез глаза заворожили меня, как змея завораживает птичку: та видит опасность, но не может улететь…

— Но если вы любите Жаннетту… — сказала Маргарита серьезно.

— Да, я люблю ее!

У Никола мороз пробежал по коже; юноша словно прирос к месту. По счастью, зазвонил колокол; ему пора было в церковь. Но и там смятенная Маргарита в слезах, с вздымающейся грудью стояла у него перед глазами, вытесняя целомудренный образ Жаннетты. Когда Жаннетта вошла в церковь и заняла свое обычное место, юноша успокоился: эта девушка внушала ему благородные помыслы и добродетельные стремления и никогда не пробуждала в нем чувственность, ибо воздействовала лишь на душу.

Маргарита не была ни кокеткой, ни святошей; она испытывала к Никола только материнскую нежность, однако сердце ее было мягким, ибо знало, что такое любовь. Страсть совсем юного существа, напомнившая ей ее лучшие годы, тронула ее. Бедный Никола, как и она, не сознавал всей опасности подобных излияний и исповедей, где к возвышенным чувствам примешивается низменная похоть. Однажды, проходя мимо дома Жаннетты Руссо, Никола увидел, как она прядет, сидя на скамейке рядом с матерью, и ножка ее, двигающаяся в такт прялке, поразила его стройностью и изяществом. Возвратившись домой, он заглянул в комнату Маргариты и увидел зеленую сафьяновую туфлю на высоком каблуке. «Как она пошла бы Жаннетте!» — подумал он со вздохом. И унес туфлю к себе, чтобы вдоволь на нее наглядеться.

Назавтра было воскресенье. Маргарита с самого утра искала туфлю по всему дому; Никола испугался, что его проделка раскроется, и, прокравшись в комнату экономки, потихоньку сунул туфлю в сундук. Экономка была не так глупа и разгадала его хитрость; однако она обулась, не говоря ни слова. Никола любовался ножкой, которой пришлась впору такая крошечная туфелька.

— Сознайтесь, — сказала ему Маргарита с улыбкой, — ведь это вы спрятали мою туфлю…

Никола покраснел, но не стал отрицать свою вину: да, он всю ночь продержал туфлю у себя.

— Бедное дитя! — воскликнула Маргарита. — Я вас прощаю, я вижу, что вы могли бы совершить ради Жаннетты Руссо то, что

некий Луи Деневр совершил ради… другой девушки.

— Ради кого же, сестра Маргарита?

Маргарита не ответила. Никола долго думал о том, что значит это полупризнание. Через день экономка собралась за покупками в соседний городок Осер. Приходской осел, животное весьма упрямое, не раз грозил сбросить свою хозяйку. Никола был крепче, чем мальчики-певчие, которые обычно его погоняли, поэтому на сей раз в помощь Маргарите отрядили его. Она проворно взобралась на осла; голову ее покрывал тонкий кисейный убор, талию стягивал корсет на китовом усе; на ней был белый бумажный казакин, передник в красную клетку и шелковая юбка цвета спелой сливы, на ногах — злополучные сафьяновые туфли с блестящими пряжками. Неизменная улыбка лишь подчеркивала манящую томность всего ее облика, черные глаза искрились нежностью. Спуск в долину Монтальри был крутой и, помогая Маргарите сойти с осла, Никола подхватил ее на руки и нес до самого низа; там она недолго шла пешком, затем Никола вновь подсадил ее на осла: дальше дорога до самого города была прямая. Время от времени Никола расправлял юбки Маргариты и укреплял ее ножки в стременах; экономка с улыбкой смотрела, как рука его касается ее зеленых туфель, и это сообщало особенную прелесть их разговорам о Жаннетте. Потом осел оступился, и Никола поддержал свою спутницу за талию, отчего она вся зарделась.

— Как сильно вы любите Жаннетту, — сказала она, — одна лишь мысль о том, что мои зеленые туфли могли бы прийтись ей впору, не дает вам покоя.

— Да, правда, — отвечал Никола, сконфуженно убирая руки со стремени.

— Ну что ж! Мне тоже трудно совладать с нежностью к дочери человека, который был мне дорог и который ни в чем передо мной не виноват. Поэтому я одобряю ваше решение просить руки Жаннетты; но будьте осторожны и не проговоритесь об этом вашим братьям — они недолюбливают вас, ведь вы от другой матери… Я берусь замолвить за вас словечко Жаннетте, а потом поговорить с ее родителями…

Никола со слезами на глазах кинулся целовать Маргарите руки — тонкие и гораздо более изящные, чем у Жаннетты, еще по-детски неуклюжей. Сестра Маргарита, слегка взволнованная, решила положить конец этим восторгам и напомнила молодому человеку, что пора читать часы. Никола собрался с мыслями и, как мужчина, начал первый; потом Маргарита говорила стих, а он поучение — так они незаметно добрались до города.

Маргарита исполнила поручение кюре, потом сделала

несколько покупок и повела Никола обедать к госпоже Жеди — галантерейщице-янсенистке, у которой она обычно покупала басон и кружева для церкви, а также ленты и прочие мелочи для себя. У госпожи Жеди была красавица дочь, недавно вышедшая замуж, к взаимной выгоде обоих семейств, за молодого человека из Кламси, тоже янсениста. Набожная мать не давала молодым шагу ступить без ее ведома, так что они не могли ни поговорить, ни просто побыть вдвоем без ее дозволения. Юную супругу по-прежнему именовали мадемуазель Жеди. Впрочем, строгий надзор за взрослыми детьми не был редкостью в семьях *порядочных* людей (так называли себя янсенисты). Кроме того, в доме жила двадцатишестилетняя племянница хозяйки, которая следила за супругами и за малейшую провинность обрушивала на них самые свирепые кары. Старой деве вменялось в обязанность заносить все проступки новобрачных, совершенные в отсутствие госпожи Жеди, в особую тетрадь. Таков был суровый уклад этого дома.

За столом Никола украдкой бросал взгляды на сидевшую справа от него молодую жену, чья печальная участь внушала ему живое сочувствие, и говорил себе, что на месте мужа проявил бы больше твердости в борьбе за свои права; накрахмаленный апостольник племянницы, сидевшей слева от него, напоминал ему о благонравии. Однако стол стоял в задней комнате, и в окно видна была улица; чтобы не скучать, Никола наблюдал за прохожими.

— Ах! Какие красивые девушки в Осере! — вырвалось у него.

Госпожа Жеди метнула на него испепеляющий взгляд.

— Но самые красивые сейчас с нами, — поспешил добавить Никола.

Молодой муж опустил глаза и покраснел до ушей; племянница сделалась пунцовой; Маргарита изо всех сил притворялась возмущенной, а мадемуазель Жеди посмотрела на Никола с нежностью и участием.

— Это брат куржийского кюре? — строго спросила хозяйка у Маргариты.

— Да, сударыня, и его, и аббата Тома, но он не пойдет по духовной части.

— Все равно, у него дерзкий взгляд, и я посоветовала бы братьям присматривать за ним.

Никола с Маргаритой выехали из Осера в четыре часа пополудни, чтобы успеть вернуться в Куржи засветло. Миновав Сен-Жерве, они прочли часы и вечернюю молитву, потом заговорили о порядках в доме госпожи Жеди. Маргарита ласково пожурила Никола за неуместную выходку, и они вместе

посмеялись над незавидной судьбой бедного мужа. Путники решили поужинать на лужайке при въезде в долину Монтальри, где в тени ив и тополей среди камней бежал ручеек. Никола достал из корзины припасы и поставил бутылку с водой, подкрашенной вином, в ручей, чтобы она охладилась. За едой Никола поведал, что он увидел случайно после обеда у госпожи Жеди: молодой муж в дверях украдкой целовал жену, пока хозяйка и ее племянница пошли распорядиться насчет десерта.

— Довольно об этом! — прервала его Маргарита, вставая, но Никола удержал ее за подол и силой усадил обратно.

Экономке пришлось уступить:

— Так и быть, поболтаем еще немножко.

— Я хочу показать вам, как он целовал жену.

— Ах, господин Никола, это грех! — воскликнула Маргарита; от неожиданности она не успела оттолкнуть его. — Что подумала бы Жаннетта?

— Жаннетта! Да, вы правы, Маргарита… Не знаю, отчего так получается: я все время думаю о ней, но когда вижу вас, сердце мое так бьется, что я не могу дышать…

— Идемте отсюда, сын мой, — мягко произнесла экономка.

В голосе ее было столько достоинства, столько теплоты, что Никола показалось, будто с ним говорит его мать. Теперь, подсаживая Маргариту на осла, он прикасался к ней едва ли не со страхом, и тут уже Маргарита целомудренно поцеловала его в лоб.

Она глубоко задумалась, словно какая-то горестная мысль не давала ей покоя; наконец она сказала:

— Господин Никола, остерегайтесь вашей пылкой и любвеобильной души. У вас есть наклонность к греху, как у моего дяди, господина Польве, вырастившего меня. Необузданные страсти опаснее, чем вы думаете. В зрелом возрасте они становятся еще неистовее, и даже старость не спасает от них порочную душу, с годами человек ожесточается и начинает внушать ужас даже близким людям. Дядя мой стал причиной всех моих несчастий: он изо всех сил боролся с преступной любовью ко мне, но не мог совладать с ревностью и потому отказал господину Руссо. Он заявил, что не желает выдавать меня замуж и собирается постричь в монахини, а чтобы сделать наш брак решительно невозможным, помог родителям господина Руссо подыскать ему невесту, на которой господин Руссо в конце концов женился… и она родила ему… вашу Жаннетту. Когда господин Руссо отступился от меня, за мной начал ухаживать другой молодой человек, господин Деневр, но робость моя и невинность были столь велики, что я не решилась распечатать письмо,

которое он передал мне, и ему пришлось просить моей руки по всем правилам. Господин Польве ответил, что никто в округе не пара его племяннице. Тогда господину Деневру удалось украдкой поговорить со мной, и жалобы его так тронули мое сердце, что я позволила ему прийти ночью ко мне под окно. Но дядя проснулся и застал господина Деневра возле нашего дома. Он поднялся на чердак, взял ружье и выстрелил в молодого человека. Несчастный не издал ни звука: истекая кровью, он кое-как выбрался из переулка, куда выходило мое окно. Чтобы не скомпрометировать меня… он не послал за врачом… Через несколько дней его не стало. Он успел передать мне письмо, которое написал на смертном одре… Я храню его до сих пор… С того дня я оставила всякую мысль о замужестве!

Рассказывая свою историю, Маргарита плакала горючими слезами, гладила Никола по волосам и смотрела на него с нежностью: его любовь к Жаннетте напоминала ей о господине Руссо, а восторженность, пылкие взоры и трогательное влечение к ней самой, заставлявшее его на время забыть даже Жаннетту, — о господине Деневре. Впрочем, если былые невзгоды делали ее снисходительной, то разница в летах служила порукой ее безопасности.

Экономка и Никола возвратились домой около девяти. В десять все легли спать. Однако юноше было не до сна; разыгравшееся воображение рисовало ему самые причудливые картины. Спал он на первом этаже, в одной комнате с аббатом Тома и певчими Юэ и Меленом. Комната Маргариты была в другом крыле дома и выходила окном в сад. Перед глазами Никола стоял как живой молодой Деневр, пренебрегающий опасностью ради встречи с возлюбленной. Никола начало казаться, что Деневр — это он, что нет ничего сладостнее, чем отдать жизнь за нежное свидание, и, не то в полусне, не то во власти лихорадочной галлюцинации, он выскользнул из комнаты и через черный ход вышел в сад. Вот и окно Маргариты, из-за жары она оставила его открытым. Она спит, длинные волосы ее рассыпались по плечам; в бледном свете луны лицо с правильными чертами кажется молодым и прекрасным. Никола взобрался на подоконник и спрыгнул в комнату Маргариты. Экономка прошептала сквозь сон:

— Оставь меня, дорогой Деневр, оставь меня!

О страшный миг, о двойная иллюзия, которая могла иметь самые печальные последствия!

— Я готов умереть за вас! — воскликнул Никола, обнимая спящую.

Чтобы довершить сходство, не хватало только выстрела

ревнивого дядюшки. Однако развязка оказалась иной. Аббат Тома слышал, как Никола встал, и следил за ним; грубый пинок мгновенно пробудил юношу от грез. Тем временем бедная Маргарита в полной растерянности решила, что двадцать лет спустя на ее глазах повторяется страшная развязка драмы, которую она только что видела во сне. На шум прибежали певчие. Аббат Тома вытолкал их взашей, потом схватил Никола за ухо, привел в свою комнату, велел тотчас собираться и, не дожидаясь рассвета, повез его в Саси. Назавтра собрался семейный совет, и решено было отдать Никола в ученье к господину Парангону, владельцу типографии в Осере. Поскольку Маргариту подозревали в том, что своей снисходительностью и кокетством она дала повод к случившемуся, ей пришлось покинуть дом священника, а на ее место взяли богомолку громадного роста по имени сестра Пилон.

Через несколько дней Никола с отцом приехали в Осер, и юноше вновь случилось обедать у галантерейщицы-янсенистки госпожи Жеди. В ее доме успел разразиться скандал, не меньший, чем в Куржи. На молодую жену была наложена епитимья, и она вышла к столу в плотном чепце с бумажными рогами. Ускользнув от двойного надзора — матери и кузины, — она совершила преступление, о котором свидетельствовала укоротившаяся впереди юбка, и все это без дозволения родительницы. Зять как вольнодумец и распутник был отослан к родителям.

— Моя дочь запятнала себя грехом! — причитала госпожа Жеди.

Однако зять, оставив прежнюю робость, затеял тяжбу, требуя вернуть жену и ее приданое.

ОБУЧЕНИЕ РЕМЕСЛУ

Типография господина Парангона в Осере находилась рядом с францисканским монастырем. Печатные станки стояли в первом этаже, наборные кассы — в большой зале наверху. Поначалу Никола поручили самую черную работу: выбирать из мусора рассыпанные литеры и раскладывать их по отделениям кассы; кроме того, ему приходилось исполнять поручения тридцати двух рабочих, таскать им воду и сносить все их грубости. Каково было ученику янсенистов, да еще влюбленному в Жаннетту Руссо, терпеть подобные унижения! Однако ум, трудолюбие и в особенности познания в латыни вскоре снискали ему уважение наборщиков. У хозяина в кабинете стоял шкаф с книгами; Никола, предпочитавший книги увеселительным прогулкам, на досуге запоем читал романы госпожи де Вильдье. Видя, с какой легкостью обмениваются письмами любовники в такого рода сочинениях, он почел вполне естественным написать Жаннетте любовное послание восьмисложным стихом; однако, забыв, как это ни странно, о необходимых мерах предосторожности, юноша отправил письмо почтой; оно попало в руки родителей девушки, а те доставили его прямиком кюре, чем привели в негодование и его, и аббата Тома, и сестру Пилон. Все лишний раз порадовались, что удалили от дома такого опасного соблазнителя, а влюбленный юноша понял, что отныне путь в Куржи для него заказан, и сильно опечалился.

Но внезапно явилось новое лицо, овладевшее всеми его помыслами и решившее его судьбу. Из Парижа возвратилась жена хозяина, госпожа Парангон, с которой Никола еще не был знаком. Вот ее портрет, написанный Ретифом много лет спустя, когда он достиг вершины славы: «Вообразите себе обворожительную женщину, дивно сложенную, с лицом прелестным, благородным и величавым, но не лишенным истинно французской пикантности; бледность не портила, но, напротив, лишь украшала ее; волосы у нее были пепельные, мягкие и шелковистые, брови изогнутые, густые и темные; чудесные голубые глаза, смотревшие из-под длинных ресниц, сообщали ее облику ангельскую кротость, которая придает красоте особенное обаяние; голос звучал робко, чисто, звонко и проникал в самую душу; поступь, оставаясь поступью порядочной женщины, была исполнена сладострастия; у нее были длинные тонкие пальцы, безупречные руки и самая изящная ножка, какая когда-либо принадлежала красивой женщине. Одежда ее говорила об изысканном вкусе; самый простой наряд обретал на ней неотразимое очарование пояса

Венеры. Более всего в ней пленяла мягкость, участливость — за это женщины любили ее, а мужчины обожали».

Такова была госпожа Парангон; она вышла замуж недавно, и муж ее казался недостойным столь любезной супруги. Как-то раз, в самом начале своей жизни в доме господина Парангона, Никола, в воскресный день сторживший типографию, услышал женские крики; они доносились из кабинета хозяина. Он бросился туда: господин Парангон обнимал Тьеннетту, служанку, она вырывалась, моля пощадить ее честь.

— Какая наглость! — заорал хозяин. — Как вы смеете врываться туда, где нахожусь я! Вон отсюда!

Но Никола так решительно вступился за девушку, что господину Парангону пришлось отступить. Тьеннетта убежала, а хозяин, несколько сконфуженный, попытался рассеять подозрения своего ученика, имевшие, увы, слишком много оснований.

Весть о возвращении хозяйки застала Никола за работой. Некоторое время он продолжал рыться в пыли, подбирая литеры, шпации и марзаны, потом наскоро умылся и спустился вниз, где столпились печатники. Госпожа Парангон, которая была со всеми приветлива и для каждого находила ласковый взгляд и доброе слово, сразу заметила Никола.

— Это новый ученик? — спросила она у мастера.

— Да, сударыня, — отвечал тот. — Из него выйдет толк.

— Но где же он? — удивилась госпожа Парангон, ибо юноша, поздоровавшись, спрятался за спинами печатников.

— Скромность — лучшее украшение, — заметил кто-то не без иронии.

Вспыхнувший от смущения подмастерье вынырнул из толпы.

— Господин Никола, — продолжала госпожа Парангон, — ваш батюшка — друг моего отца, надеюсь, и мы с вами будем друзьями…

В этот миг любезная улыбка молодой женщины пробудила в душе Никола смутное, как сон, воспоминание: когда-то, в детстве, он уже видел эту женщину, но тогда она была совсем другой.

— Ну что же вы, — продолжала госпожа Парангон, — неужели не узнаете Колетту де Вермантон?

— Колетта? Это ты?.. Это вы, сударыня? — пробормотал Никола.

Печатники вернулись к своей работе, а юный подмастерье, оставшись в одиночестве, вновь и вновь перебирал в памяти подробности неожиданной встречи, восхищаясь столь удивительным стечением событий. Тем временем госпожа Парангон удалилась в заднюю комнату; служанка помогла ей снять дорожное платье. Через несколько минут она вышла.

— Тьеннетта говорит, что вы порядочный юноша… и вдобавок умеющий молчать, — добавила она, недвусмысленно намекая на то, что произошло в кабинете господина Парангона. — Надеюсь, эта вещица пригодится вам. — И она протянула ему серебряные часы.

С этого дня печатники прониклись к подмастерью таким уважением, что освободили его от самой черной работы. Узнав Никола ближе, госпожа Парангон оценила по заслугам любознательного юношу, который, в отличие от многих своих товарищей по типографии, не был ни мотом, ни распутником, и полюбила беседовать с ним о книгах. К романам госпожи Вильдье и даже к «Принцессе Клевской» она относилась с недоверием.

— Еще я читаю Теренция, — сказал Никола, — и даже начал его переводить.

— Ах! Почитайте же ваши переводы! — попросила госпожа Парангон.

Он принес тетрадь и прочел отрывок из «Девушки с Андроса». Читал он с жаром, особенно ту сцену, где Памфил объясняется в любви прекрасной рабыне; госпоже Парангон пришло в голову попросить его почитать «Заиру» — в Париже она видела эту пьесу на сцене Французской комедии. Она время от времени поясняла, с какой интонацией произносили ту или иную реплику актеры, но вскоре почувствовала, что ей милее простая и естественная манера молодого человека: она облокотилась на спинку его стула, и тепло ее руки, которое он ощущал плечом, заставляло его голос звенеть и дрожать от волнения. Приход госпожи Минон, жены прокурора и родственницы госпожи Парангон, прервал это сладостное занятие.

— Я так взволнована, — сказала госпожа Парангон. — Господин Никола читал мне «Заиру».

— Он хорошо читает?

— С душой.

— О! Тем лучше! — воскликнула госпожа Минон, хлопая в ладоши. — Пусть прочтет нам «Девственницу». Ее ведь, кажется, тоже сочинил Вольтер. Вот будет забавно!

По неведению и наивности Никола и госпожа Парангон приняли ее предложение; впрочем, из этой затеи ничего не вышло: едва раскрыв поэму Вольтера, супруга господина Парангона почувствовала все ее легкомыслие.

Меж тем нравственность Никола подверглась вскоре гораздо более серьезному испытанию. Однажды вечером он сидел один в гостиной, вдруг в комнату крадучись вошел незнакомый мужчина; одежда его была в беспорядке, вернее, он был полураздет; Никола признал в нем монаха францисканца из

соседнего монастыря. Монаха звали Годэ д'Аррас; он рассказал, что попал в западню и еле спасся; войти в главные ворота без рясы он не может, ибо ему трудно объяснить, куда она делась. Дабы избежать скандала, он просил позволения воспользоваться дверью типографии, выходящей на монастырский двор. Никола выручил беднягу и сохранил его приключение в тайне.

Спустя несколько дней монах пришел снова, на сей раз в рясе, и пригласил Никола на обед в свою келью. Отличная еда и тонкое вино располагают к откровенности: Годэ д'Аррас рассказал, что удалился в монастырь не по душевной склонности, а по требованию семьи и давно тяготится монашеской жизнью. Впрочем, он имел право разорвать обет и тем оправдывал свое легкомысленное поведение.

Никола, не терпевшему никакого принуждения, были отвратительны феодальные порядки, продолжавшие существовать в просвещенном XVIII столетии; его возмущали родители, заставлявшие своих детей приносить против воли суровый монашеский обет; правда, им дозволялось покинуть монастырь, лишь бы дело обошлось без скандала. Поначалу Никола не питал особого сочувствия к монаху, потерявшему где-то в полях свою рясу. Но мысль, что Годэ д'Аррас сердцем уже на свободе, хотя отчасти оправдывала его поведение. Молодые люди подружились. Если Никола, предаваясь подчас сумасбродным мечтаниям, поступал до сих пор как человек достойный и честный, то Годэ д'Аррас был законченным продуктом цинической эпохи. Мать платила ему хорошее содержание, и он часто приглашал друзей-монахов на обед в свою уютную келью с окном в сад. Бывал там и Никола. Во время застолий вино лилось рекой и высказывались суждения не столько религиозного, сколько философического свойства. Они немало повлияли на будущего писателя, он сам это признавал.

Короткие отношения всегда располагают к откровенности, и эта опасная дружба не была исключением. Монах соблаговолил участливо выслушать историю первой любви Никола, хотя простодушие юноши вызывало порой его улыбку.

— Вообще, — сказал Годэ д'Аррас, — положите себе за правило избегать всяких романических привязанностей. Есть лишь один способ не покориться женщине — это покорить ее себе. И вообще, советую обходиться с женщинами пожестче. Они будут только сильнее вас любить. Я заметил, что вы неравнодушны к госпоже Парангон, смотрите, не благоговейте перед нею. Вы мышка, с которой она играет, покорный слуга, которым она хочет как можно дольше повелевать. Будьте мужчиной, лишите прекрасную даму славы несокрушимой

добродетели…

Никола впервые слышал столь смелые речи и страдал от такого надругательства над своим чистым чувством.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он наконец.

— Я хочу сказать, что хватит смотреть да облизываться. Соберитесь с духом, откройтесь ей и берите быка за рога либо начните волочиться за какой-либо другой дамой, тогда эта сама прибежит к вам, и вы добьетесь двух побед разом.

— Нет, — возмутился Никола, — ни за что!

— Ну что ж, узнаю почтительного поклонника Жаннетты Руссо.

Никола зарекся бывать у монаха, но яд уже проник в его сердце; сладостные грезы, истинно христианское чувство, в котором он ни за что не признался бы и у которого не было иной цели, кроме беспорочного единения душ, образ, столь целомудренный и благородный, что не вытеснял из сердца юноши образ Жаннетты Руссо, но мирно уживался с ним, — все эти радости поэтического ума, питающегося одними мечтаниями, отныне уступили место пылкой и вполне плотской страсти. Почерпнув в философских сочинениях новые идеи, Никола уже не видел причин пренебрегать советами Годэ д'Арраса; когда он оставался в одиночестве, покой его смущали латинские музы, которые на разные лады, то насмешливо, то печально, повторяли недавно усвоенные им софизмы… «Женщина как тень: когда вы идете за ней, она бежит от вас, когда вы бежите от нее, она идет за вами».

Однажды Никола зашел в монастырскую церковь; шла вечерняя служба. Монахи, вкусившие утром от щедрот Годэ д'Арраса, пели необычайно громко. Никола узнавал голоса своих сотрапезников, окрепшие от благороднейших бургундских вин; он вышел и забрел на кладбище, где стал машинально читать старинные надписи на могилах. На одной из них готическим шрифтом было высечено: «Гийен, 1534». Размышляя о двух столетиях, отделяющих его от незнакомца, Никола почувствовал тщету жизни и смерти и поддался сладостной грусти, которая посещала древних римлян в разгар пиршества; подобно Тримальхиону, он воскликнул: «Раз жизнь так коротка, надо спешить!..»

Никола вернулся в типографию; чтобы отвлечься от этих мыслей, он раскрыл книгу, но тут возвратилась от прокурорши госпожа Парангон. Она была в туфлях на зеленом каблуке, с язычком и блестящей пряжкой. Туфли были новые и натерли ей ногу, а поскольку Тьеннетты не было дома, она попросила Никола пододвинуть малиновое кресло и села в него. Юноша бросился к

ней и снял с нее туфли, не расстегивая. Красавица только улыбнулась:

— Принесите же мне другие.

Никола кинулся исполнять приказание, но, когда он вернулся, госпожа Парангон поджала ноги и захотела обуться сама.

— Что это вы читаете? — осведомилась она.

— «Сида», сударыня, — отвечал Никола. — Ах! Как несчастна была Химена! Но как прелестна!

— Да, ей пришлось нелегко.

— О, еще как нелегко!

— Правду сказать, я полагаю, что преграды… только разжигают любовь.

— Конечно, сударыня, они ее разжигают так сильно, что…

— Откуда вам знать это в ваши лета?

Никола залился краской. После минутного молчания он осмелился произнести:

— Я знаю это не хуже, чем Родриго.

Госпожа Парангон рассмеялась, затем встала и сказала уже серьезно:

— Желаю вам быть таким же добродетельным, как Родриго, и, главное, таким же счастливым.

Хотя ирония, прозвучавшая в ее словах, была вполне благожелательной, Никола почувствовал, что зашел слишком далеко. Госпожа Парангон удалилась, но туфли ее со сверкающими пряжками остались подле кресла. Никола с трепетом схватил их, полюбовался изящной формой и, собравшись с духом, крохотными буквами написал внутри одной из них: «Я вас обожаю!» Тут вошла Тьеннетта, и он отдал туфли ей.

ВЕНЕРА

Этот странный поступок, это столь необычное любовное послание, которое дерзкий подмастерье посмел написать жене хозяина, — первый шаг Никола на опасном пути. Читателю уже известна его влюбчивость, а ведь мы рассказали не все, обойдя молчанием множество приключений, героинями которых были юные обитательницы Саси и Осера. Отныне душа эта, несмотря на нежный возраст, уже не чувствует себя невинной; в жизни всякого человека есть минута, когда он делает выбор между добром и злом и тем предопределяет свою судьбу. Такая минута наступила и в жизни Никола. Ах, если бы можно было взять часы и отвести их стрелку назад! Увы! Часы остановятся, но вечный бег времени будет продолжаться.

В тот день господин Парангон и мастер цеха отправились в масонскую ложу, поэтому Никола предстояло обедать вдвоем с хозяйкой. Он не решался сесть за стол.

— Садитесь, — проговорила госпожа Парангон дрогнувшим голосом.

Никола занял свое обычное место.

— Садитесь против меня, ведь нас только двое.

Она налила ему суп. Он хранил молчание и медленно подносил ложку ко рту.

— Что же вы не едите? — спросила госпожа Парангон. — О чем задумались?

— Ни о чем, сударыня.

— Вы ходили к мессе?

— Да, сударыня.

— Вам досталась облатка?

— Нет, сударыня, я был на хорах.

— У меня остался кусочек.

Она указала ему на серебряное блюдечко, но он не смел протянуть руку, и госпоже Парангон пришлось самой передать ему облатку.

— Вы все думаете о чем-то, — добавила она.

— Да, сударыня…

Он почувствовал неучтивость своего ответа и постарался взять себя в руки; вспомнив, что сегодня день рождения госпожи Парангон, он произнес:

— Я думал о том, что сегодня праздник… Как бы мне хотелось иметь букет цветов, чтобы вам преподнести. Но у меня ничего нет, кроме моего сердца, которое и без того принадлежит вам.

Она улыбнулась в ответ:

— Мне довольно вашего желания.

Никола встал, подошел к окну и посмотрел на небо.

— Сударыня, — продолжал он, — если бы я был Богом, я подарил бы вам не цветы, а самую красивую звезду, ту, что горит там, вдали. Люди назвали ее Венерой…

— Ах, господин Никола, что вы такое говорите!

— Мы не в силах достать звезду с неба, но можем восхищаться ею издали. Теперь, глядя на Венеру, я всякий раз буду думать: «Вот дивное светило, под которым родилась мадемуазель Колетта».

Госпожа Парангон была тронута:

— Спасибо, господин Никола, вы так красиво это сказали!

Никола радовался, что избежал упреков, которые, без сомнения, заслужил, но спокойное достоинство хозяйки, которая вскоре удалилась к себе, принял за холодность. Он был так взволнован, что не мог усидеть на месте. Вечерело. Юноша вышел из дома и направился в сторону бенедиктинского аббатства. Когда он вернулся, дома никого не было; господин Парангон получил письмо — дела срочно призывали его в Вермантон, госпожа Парангон, взяв с собой Тьеннетту, пошла проводить его. Сердце Никола было переполнено, ему нужно было излить свои чувства. Он бросил взгляд в окно: по монастырскому двору, созерцая звезды, широким шагом расхаживал Годэ д'Аррас.

Этот монах-философ обладал, как мы уже говорили, своеобразным складом ума. В голове его самым причудливым образом уживались спиритуалистические и материалистические идеи. Все, кто слышал его вдохновенные речи, неминуемо подпадали под их власть. Никола несколько раз вместе с Годэ д'Аррасом прошел из конца в конец монастырский двор, пытаясь по мере сил уразуметь его философические построения. Но у молодого человека так кружилась голова от платонической любви к Жаннетте и чувственного влечения к госпоже Парангон, что он не мог не поделиться с Годэ д'Аррасом своими терзаниями. Монах отвечал рассеянно.

— Юноша, — говорил он, — идеальная любовь есть благородный напиток, до краев наполняющий чашу, довольно тебе любоваться его алым цветом. Природа открывает тебе свой неиссякаемый источник, спеши, ибо не успеешь ты утолить жажду, как чаша с божественным нектаром перейдет к другим!

Слова эти повергли Никола в еще большее смятение.

— Как! — возражал он. — Разве не бывает доводов, способных укротить самую исступленную страсть? Разве нет женщин, которых должно чтить, богинь, перед которыми должно

преклонять колена, не смея просить у них даже ласкового взгляда, даже улыбки?

Годэ д'Аррас покачал головой и продолжал развивать свои циничные, хотя и путаные теории. Никола завел речь о высшей справедливости, о карах, ожидающих за гробом людей порочных и преступных… Но монах не верил в Бога.

— В природе, — говорил он, — искони царит гармония, здесь все определяют числа, всем управляют физические законы.

— Однако мне было бы тягостно, — отвечал Никола, — оставить надежду на бессмертие.

— В бессмертие верю и я, и вера моя непоколебима, — сказал Годэ д'Аррас. — Когда тело умирает, душа радуется своему освобождению и удивляется, что любила жизнь.

И, словно во власти пророческого вдохновения, он продолжал:

— Свободное существование человека длится, по моим подсчетам, около двухсот пятидесяти лет. Я исхожу из физических законов круговращения светил. Мы в силах воскресить только материю, из которой было сделано наше поколение, а материя эта, по-видимому, распыляется окончательно и становится пригодной для оживления лишь по прошествии названного мною срока. Первые сто лет своей духовной жизни души наши, как мы сами в расцвете нашей телесной юности, счастливы и не терзаются угрызениями совести. Следующие сто лет длится пора силы и блаженства, последние же пятьдесят лет отравлены ужасом перед возвращением к земной жизни. Тяжелее всего для души то, что ей неведомо, в каком обличье она вернется на землю: вселится ли она в хозяина или в слугу, в богача или в бедняка, в красавца или в урода, в мудреца или в дурака, в добряка или в злодея. Вот что страшно. Мы, смертные, живя на земле, ничего не знаем о жизни в мире ином, потому что душа, получая новую телесную оболочку, утрачивает память. Расставшись с телом, душа, напротив, вспоминает не только все, что ей довелось испытать в последнем воплощении, но и все свои предыдущие существования…

Слушая эти необычные проповеди, Никола продолжал грезить о любви. Годэ д'Аррас заметил это и замолчал; однако он успел заронить в сердце молодого человека зерно опасных идей, которые развеяли в прах последние остатки христианского воспитания. На прощанье Никола коротко рассказал о новостях в доме Парангонов. Между прочим, он упомянул, что хозяин типографии уехал в Вермантон.

— Так, значит, красотка осталась соломенной вдовой! — воскликнул монах.

На том они и расстались.

Придя домой, Никола почувствовал себя словно пьяный, который входит с улицы в жарко натопленную комнату. Час был поздний, все спали, и он открывал двери с осторожностью, чтобы никого не разбудить. Дойдя до столовой, он вспомнил, как обедал здесь наедине с хозяйкой; окно было растворено, и он поискал глазами «прекрасную звезду мадемуазель Колетты», Венеру, которая так ярко светилась в небе в тот час; теперь ее уже не было видно. В голове его мелькнула неожиданная мысль; он вспомнил последние слова Годэ д'Арраса и, как вор, как предатель, бросился к спальне своей возлюбленной. Благодаря простоте провинциальных нравов в убежище целомудрия вела обычная застекленная дверь на задвижке, да и та была не заперта. Ровное дыхание госпожи Парангон отмеряло быстротечные мгновения ночи. Никола осмелел: он приоткрыл дверь, в тусклом свете ночника разглядел кровать, на коленях подполз к ней и, ободренный недвижностью спящей и тишиной, встал во весь рост.

Быстрый боязливый взгляд на постель пробудил в душе Никола гораздо меньше пыла, чем он ожидал. Второй раз в жизни он проник в спальню женщины; но госпожа Парангон не обладала непринужденностью и опрометчивой беспечностью бедной Маргариты Парис. Она спала, укрывшись одеялом до самого подбородка, похожая на статую римской матроны. Если бы не легкое дыхание и не вздымающаяся под одеялом грудь, она казалась бы строгим изваянием на могиле. Вероятно услышав шорох сквозь сон, она протянула руку, потом тихо кликнула Тьеннетту. Никола простерся на полу. Боясь, что хозяйка заденет его рукой и совсем проснется, он не двигался, затаив дыхание и с ужасом ожидая, что вот-вот появится Тьеннетта. Прошло несколько минут; все было тихо; у Никола достало сил лишь на то, чтобы ползком выбраться из комнаты. Он добежал до столовой и притаился в углу за буфетом; вскоре раздался звонок. Госпожа Парангон приказала служанке лечь в ее спальне.

Как показаться на глаза монаху после столь смехотворной попытки? Эта мысль тревожила Никола даже больше, чем сожаление об упущенной возможности.

Так юная душа день ото дня становилась все порочнее, и неудовлетворенное самолюбие жгло ее сильнее, чем безответная любовь.

Назавтра госпожа Парангон попросила Никола почитать после обеда «Письма маркиза де Розеля». Ничто в ее тоне и взгляде не указывало на то, что ей ведома причина шума, разбудившего ее ночью, и Никола быстро успокоился; читал он с блеском, с жаром; госпожа Парангон сидела в кресле у камина,

слегка запрокинув голову, и время от времени прикрывала глаза; это напомнило Никола целомудренную картину, виденную им накануне. Голос его дрогнул, стал звучать глуше, а потом и вовсе умолк.

— Но я не сплю!.. — проговорила госпожа Парангон. — Впрочем, даже когда я сплю, сон у меня очень чуткий.

Никола вздрогнул; он попробовал читать дальше, но не мог справиться с волнением.

— Довольно, — сказала она, — вы устали. Я от души сочувствую этой Леоноре…

— А мне, — Никола вновь осмелел, — мне милее ангельский нрав мадемуазель де Ферваль. Ах! Все женщины, на мой взгляд, достойны любви, но есть среди них настоящие богини.

— А главное, среди них есть женщины, достойные уважения, — промолвила госпожа Парангон.

Потом, после паузы, которую Никола не решился прервать, она мягко продолжала:

— Никола, пора вам подумать о будущем… Вы никогда не помышляли о женитьбе?

— Нет, сударыня, — начал было Никола и осекся, поняв, что гнусно солгал.

Его первая возлюбленная предстала его внутреннему взору; но госпожа Парангон ни о чем не догадывалась.

— Вы из порядочной семьи, — говорила она, — сын наших друзей, подумайте над тем, что я вам скажу. У меня есть сестра, она много моложе меня… и чуть-чуть на меня похожа. — Последние слова она произнесла не без смущения, но с очаровательной улыбкой. — Так вот, господин Никола, если вы будете работать на совесть, я отдам за вас сестру. Пусть план мой ободряет вас и охраняет вашу нравственность. Мы еще поговорим об этом, друг мой.

Достойная женщина встала и направилась к двери. Никола бросился целовать ей руки и оросил их слезами.

— Ах, сударыня!.. — воскликнул он прерывающимся голосом.

Но она не стала его слушать и удалилась.

Никола остался наедине со своими мыслями; доброта и снисходительность госпожи Парангон преисполнили его душу восторгом. Юноша понял, что она все знает, но прощает его.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

В жизни Никола наступила бурная пора. Перед нами уже не простодушный отрок, любящий уединение и латинскую поэзию; неотесанный крестьянский мальчишка-дикарь стал прилежным учеником янсенистов, затем мечтательным воздыхателем, который почитает женщину за фею и не решается даже дотронуться до нее, боясь, что греза рассеется. Городской воздух оказался пагубен для этой мятущейся души, постоянной единственно в любви к природе и удовольствиям. Коварные советы, которым он охотно внимал, сомнительные философские сочинения, прельщающие своей неприкрытой безнравственностью и мнимой мудростью[5], сыграли свою роль: он превратился в не знающего никакой узды юнца, чей до времени просвещенный ум наделен способностью к холодному анализу, свойственной обыкновенно зрелым мужам и зиждущейся на опыте, в гуляку, который во всеоружии своих познаний предается грубым утехам, что можно простить людям, не ведающим иной жизни, но не ему. Ему не дано было оценить чуткость госпожи Парангон, ее снисходительность, ее нежное участие, ее возвышенное сострадание к заблудшей, но искренней душе. Он счел, что его ночная выходка не так уж сильно разгневала благородную женщину. Однако с тех пор, стоило им остаться наедине, как она заводила речь о своей сестре, и порой он готов был поверить, что в один прекрасный день обретет в этом ребенке вторую Колетту; девочка и вправду походила на старшую сестру и обещала стать со временем ее копией, но как долго надо было ждать! Приступы благоразумия приводили Никола в задумчивость, и госпожа Парангон была не в силах отказать ему в улыбке, отнять у него руку, когда он хотел поцеловать ее, якобы в залог грядущего законного счастья. Она почувствовала опасность этих бесед, этих уступок и сказала Никола:

— Вам нужно развеяться. Отчего вы не бываете на праздниках, на гуляньях, как другие юноши? Все вечера и воскресные дни вы сидите дома, читаете и пишете, так недолго и заболеть.

«Ну что ж, — решил он, — она права, пора наконец начинать жить!» После чего с исступлением, на какое способны лишь люди меланхолического склада, успевшие разочароваться в жизни, предался всем удовольствиям, доступным жителю Осера — маленького городка, бывшего, однако, в те времена ничуть не добродетельнее Парижа. И вот он уже непременный участник народных гуляний, душа общества; товарищи удивляются

происшедшей в нем перемене и принимают в компанию. Он отбивает у них любовниц, бросает смуглянку Марианну ради пикантной Аглаи Ферран. Нежная Эдме Сервинье и кокетка Дельфина Барон оспаривают друг у друга его внимание. Он посвящает им обеим модные стихи в духе Шолье и Лафара. Иногда, к его радости, слухи о какой-нибудь скандальной истории достигают ушей госпожи Парангон; она упрекает его со слезами на глазах, на что он с торжествующим видом заявляет:

— Вы ведь сами говорили: молодому человеку надо немного развлечься… А там, глядишь, он станет примерным мужем… Как господин Парангон!

И бедная женщина молча удаляется к себе, чтобы дать волю своему горю.

Увы! Никола приходит домой пьяным, у него появились развязность, дурные манеры любимца дам. Госпожу Парангон все это очень огорчает.

Но вдруг поведение его меняется, он вновь становится домоседом и все время о чем-то тоскует; умерла одна из его многочисленных любовниц, Мадлон Барон, и, хотя связь их была мимолетной, несчастье это опечалило его. Госпожа Парангон искренне разделяла его скорбь, которую, без сомнения, преувеличивала. Настороженность ее исчезла. Однажды в воскресенье она складывала мотки пряжи в высокий шкаф. Тьеннетта ушла за покупками, дома был один Никола, и хозяйка попросила его помочь. Она стояла на стремянке, и, подавая мотки, Никола любовался ее стройной ножкой в белом дрогетовом башмачке на тонком высоком каблуке, который придавал еще больше хрупкости этой миниатюрнейшей ножке. Никола никогда не мог устоять перед таким соблазном. Искушение стало еще сильнее, когда он заметил, что у госпожи Парангон затекли ноги и ей трудно спуститься, так что ему пришлось подхватить ее и опустить на кипу льна, лежавшую на полу. Как описать, что случилось в тот краткий миг, быстролетный, словно сон? Долго сдерживаемое чувство, роковая случайность, восторжествовавшая над стыдливостью, — все было против бедной женщины, такой доброй и великодушной: она сразу лишилась чувств и лежала словно мертвая. Никола испугался; у него достало сил лишь на то, чтобы отнести госпожу Парангон в спальню. Вернулась Тьеннетта; Никола сказал ей, что хозяйке стало дурно и она позвала его. Он описал свою тревогу и отчаяние, затем, увидев, что госпожа Парангон вот-вот очнется, убежал, не в силах вынести ее взгляда…

Итак, злодеяние свершилось. Бедная женщина, которая, быть может, в глубине души любила Никола, но ставила долг выше

любви, наутро не встает с постели. Она посылает Тьеннетту сказать Никола, что больна и не выйдет к завтраку. Такая сдержанность и доброта — словно нож острый для человека, сознающего свою вину. Никола бросается к ногам изумленной Тьеннетты, орошает ее руки слезами:

— О, позволь мне, позволь увидеть ее, на коленях молить ее о прощении! Я хочу сказать ей, как я раскаиваюсь в своем преступлении…

Тьеннетта в замешательстве:

— О каком преступлении вы говорите, господин Никола? Госпоже нездоровится, быть может, вы тоже больны?.. У вас, верно, лихорадка?

— Нет, Тьеннетта, я здоров, но я должен ее видеть!

— Боже мой! Господин Никола, да кто вам не дает пойти к госпоже?

Никола был уже в комнате больной. Упав на колени перед ее постелью, он рыдал, не в силах вымолвить ни слова и не смея поднять на нее глаз. Госпожа Парангон наконец произнесла:

— Кто бы мог подумать, что сын таких порядочных родителей совершит поступок… во всяком случае, попытается совершить…

— Сударыня! Выслушайте меня!

— Ах, говорите, что хотите… у меня нет сил прервать вас.

Никола бросился целовать ей руки, но госпожа Парангон отдернула их; уткнувшись пылающим лицом в свежее полотно простыней, юноша молчал.

Смятение его было столь велико, что тронуло даже женщину, которую он так тяжко оскорбил.

— Небо покарало меня, — сказала она. — Какой суровый урок! Я лелеяла мечту выдать за вас сестру: мы породнились бы и были счастливы без преступления. Теперь об этом нечего и думать…

— Ах, сударыня!

— Ты не захотел быть мне братом! — воскликнула госпожа Парангон. — Горе тебе! Ты станешь любовником покойницы, я не переживу этого позора!

— Ах! Ваши слова слишком жестоки, сударыня!

Никола встал и пошел к двери. В душе его созрело роковое решение.

— Так у него еще есть сердце! — простонала больная. — Куда вы идете?

— Туда, куда велит мне совесть!.. Я осквернил божество в его самом совершенном образе… я не имею права жить…

— Останьтесь! — приказала она. — Отныне ваше присутствие мне необходимо… Мы будем служить друг другу вечным

укором… Моя жизнь, жестокосердный юноша, зависит от твоей: посмей же распорядиться ею!..

— Я недостоин вашей сестры, — сказал Никола, разражаясь слезами. — Ведь, став ее мужем, я все равно любил бы вас. Я соглашался с вашими планами, чтобы не разлучаться с вами. Но я не хочу изменять вам даже с вашей сестрой!

С этими словами он выбежал вон из комнаты. Он отправился к городскому валу, вдоль которого тянулись аллеи, где любили гулять горожане, ему необходимо было прийти в себя после мучительной сцены.

На бульваре было людно: рабочие затеяли игры, девушки прогуливались стайками. Никола узнал среди них нескольких постоянных посетительниц танцевальных зал, где часто бывал и он. Силясь отвлечься, он примкнул к одной из компаний, где царит буйное веселье, прогоняющее грустные мысли, и никто не докучает тебе расспросами. После обеда на лоне природы Никола расстался с друзьями и отправился домой; проходя по улице Сен-Симон мимо больницы, он услышал взрывы смеха, и горькие мысли вновь нахлынули на него. Смеялись три молоденькие девушки — они дразнили подружку, которую застали в объятиях уродливого толстяка Туранжо, печатника из типографии Парангона; всегда очень грубый, в тот вечер он был еще и навеселе. Бедная девушка от обиды лишилась чувств. Печатник в ярости накинулся на насмешниц и больно ударил одну из них. На шум сбежался народ, и не миновать бы Туранжо расправы, не случись тут Никола: он первый подскочил к Туранжо и, схватив его за руку, сказал:

— Ты совершил подлость. Если бы не я, тебя растерзали бы на части. Но я вызываю тебя. Будем драться на шпагах. Ты был солдатом, храбрости тебе не занимать.

— Я готов, — ответил Туранжо.

Окружающие пытались помирить их, но безуспешно. Кто-то принес две шпаги, и при свете уличного фонаря началась дуэль по всем правилам. Никола едва умел держать шпагу, но и Туранжо в тот вечер был ему под стать, ибо не слишком твердо стоял на ногах. Никола со всей силы нанес противнику удар; печатник упал, из раны на шее брызнула кровь. Жизнь его была вне опасности, но Никола пришлось скрываться от полиции. Он успел наскоро проститься с госпожой Парангон, которая догадалась, какое горе и отчаяние стоит за поступком юноши. Впрочем, благодаря этой дуэли он прославился на всю округу и заслужил репутацию защитника красавиц. Слава эта докатилась даже до родного дома, который он навестил перед отъездом в Париж.

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Прогостив несколько дней у родителей в Саси, Никола отправился в столицу, где поступил наборщиком в типографию. Мы уже видели, что всякое свежее женское личико воспламеняло эту душу, страстную и, по выражению самого Никола, пронизанную электричеством, как ни одна другая. Незадолго до своей мимолетной связи с мадемуазель Геан он неожиданно получил известие о смерти госпожи Парангон. После описанных нами событий бедная женщина не прожила и года. Она знала о беспечной легкомысленной жизни Никола в Париже; вероятно, это отравило ее последние минуты. Никола, от природы тянувшийся к добру, но из-за отсутствия твердых принципов неизменно поддававшийся злу, много лет спустя писал об этой поре своей жизни: «Добронравие — как ожерелье; стоит развязать нитку — и оно рассыплется».

Между тем дурное поведение истощило и здоровье Никола, и его кошелек. Простой рабочий, даже самый опытный, получал в день самое большее пятьдесят су, и юноше очень скоро стала не по карману жизнь, подобающая его новым знакомствам. Неожиданно он получил письмо из Осера… Писал господин Парангон. Судьбе было угодно, чтобы оно пришло как раз тогда, когда Никола остался без работы и без гроша в кармане; к тому же он тосковал по дому и мечтал навестить родные места. Господин Парангон сетовал на одиночество и предлагал бывшему ученику место мастера цеха. «Это Туранжо напомнил мне о Вас, — добавлял он. — Как видите, он не держит на Вас зла…»

Когда Никола получил письмо, в кошельке у него оставалось всего двадцать четыре су; чтобы заплатить за дорогу в Осер, ему пришлось продать четыре полотняные рубашки. Господин Парангон очень ему обрадовался и, поскольку Никола не хотел жить у него в доме, посоветовал ему постоялый двор некоего Рюто.

Судьба складывается из событий случайных и на первый взгляд незначительных, но благодаря какой-нибудь мелочи вдруг круто меняющих либо к лучшему, либо к худшему всю жизнь человека. Так полагал Никола, не слишком веривший в Провидение. Поэтому позже он сокрушался: «Ах, зачем я поселился у этого Рюто!», «Будь у меня чуть побольше денег, когда я получил письмо от господина Парангона!», «Ну почему я не переехал прежде, чем пришло это письмо!».

Рядом с постоялым двором Рюто жила вдова аптекаря госпожа Лебег, у нее была дочь Аньес, отличавшаяся несколько

мужеподобной красотой; по слухам, Аньес унаследовала от отца кое-какое состояние и потому считалась выгодной партией. Рюто был недурен собой и ухаживал за вдовой Лебег. Иногда он приглашал Никола на ужин, где Аньес Лебег всячески выказывала юноше свое расположение. Впоследствии Никола узнал, что платил за эти ужины господин Парангон, недаром вино к столу подавали отличное — типограф знал в этом толк. Обольщение продолжалось, и вскоре пошли разговоры о свадьбе. Никола написал родителям, которые уже знали обо всем от господина Парангона и потому охотно дали свое согласие. Все словно сговорились погубить бедного юношу. Годэ д'Аррас, развративший его своим безбожием, мог бы на сей раз спасти его, открыв ему глаза на истинное положение дел, но он давно покинул Осер. Вдобавок господин Парангон, не раз ссужавший его деньгами, приобретал над ним все большую власть. «Кого Юпитер хочет превратить в раба, того он лишает разума», — говорил добрый Гомер. Перед самой свадьбой Никола получил анонимное письмо, которое содержало множество сведений о прошлом его невесты. Но рок преследовал несчастного и здесь: он узнал почерк одной из своих бывших любовниц и приписал письмо отчаянию ревности. Итак, венчание состоялось, и только по выходе из церкви на лице господина Парангона проступили пятна и заиграла злорадная улыбка. Никола женился на одной из самых известных в городе распутниц. Что же касается приданого, то оно было обременено такими долгами, которые сводили его почти к нулю. Бедный юноша быстро понял, что господину Парангону известно, что произошло когда-то в его доме. Окончательно Никола убедился в этом позже, пока же он покинул опостылевший Осер. Аньес Лебег успела опередить его, сбежав с одним из своих кузенов.

Никола возвратился в Париж и поступил в типографию Андре Кнапена. В те времена труд печатников был в цене: опытный наборщик получал до двадцати восьми ливров в неделю. Это относительное благополучие подняло дух Никола Ретифа, и вскоре он написал свои первые романы. Самый большой успех среди них имела «Неверная жена», где он вывел Аньес Лебег; потом вышел «Совращенный поселянин», основу которого составили события, происшедшие с ним самим.

Часть II

СЕПТИМАНИЯ

Мода на автобиографии, воспоминания и исповеди, или признания, которая, как эпидемия, время от времени вспыхивает в наш век, в конце прошлого столетия была повальной болезнью. Однако у Руссо не нашлось более смелого подражателя, чем Ретиф. Он не просто использовал собственные приключения и приключения своих знакомых в качестве материала для новелл и романов — он достоверно и подробно описал их в шестнадцатитомном сочинении под названием «Господин Никола, или Тайны человеческого сердца»; но этого ему показалось мало, и он воспроизвел то же самое в драматической форме. Так родилась дюжина трех— и пятиактных пьес, неизменным героем которых под разными именами выступает сам автор.

Как бы охотно ни живописали себя современные авторы, им далеко до такого самолюбования. Мы уже видели, как Никола развлекал сановников и банкиров рассказами о собственных похождениях, делая достоянием гласности свои любовные связи, дурные дела, семейные и супружеские тайны. Еще большей дерзостью было написать цикл пьес под названием «Драма жизни» и представлять эти пьесы в различных домах; разыгрывали их нарочно нанятые актеры Итальянской комедии, иногда итальянский кукольник манипулировал китайскими тенями, а реплики произносил сам Ретиф. Кто еще так выставлял себя на всеобщее обозрение? Надо сказать, что это публичное моральное анатомирование было опасно не только для героя, но и для зрителей. Они и не подозревали, что в один прекрасный день займут место в этом волшебном фонаре, отражающем подлинную жизнь, что бродячий комедиант выставит их на посмешище, сделает послушными марионетками в своих руках, заострит их характерные черты, слабости и пороки, заговорит их голосом, с их интонациями, повторит слова, которые они сказали однажды в некоем доме на некоей улице в некоем более или менее приличном обществе и которые подслушал безжалостный наблюдатель. Кто стал бы знаться с этим человеком, если бы предвидел, что, подвергнув себя публичному унижению, он станет мстить насмешникам, поклонникам и даже просто любопытным?

Каждому из них он будет повторять: Quid rides?.. De te fabula narratur![6] Он проникнет в их роскошные особняки, в их альковы, выведает тайны наглухо запертых охотничьих домиков, соблазнив горничную либо напоив в кабачке привратника. Таков был Ретиф

— впрочем, до последних дней свято веривший, что лишь долг писателя-моралиста осуждает его на роль романического соглядатая-резонера.

Нравственности в поступках, стройности и вкуса в писаниях — вот чего всегда не хватало Ретифу де Ла Бретонну. Но гордыня мешала ему признаться в этом. Он неизменно винил в собственных пороках либо темперамент, либо нищету, либо рок, который, карая его за каждую провинность, отпускает ему тем самым все грехи. Он уверовал в то, что страдания в земной жизни искупают любой проступок, поэтому человеку, который страдает не ропща, дозволено все. Прежде чем перейти от юношеских увлечений Никола к печальному финалу его любовной карьеры, мы расскажем две очень несхожие истории из его жизни. Чтобы они не показались невероятными, нужно мысленно перенестись в XVIII столетие, в эпоху чудовищной испорченности нравов, вполне достоверную картину которой рисуют, к примеру, «Манон Леско» и «Опасные связи».

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

В те времена, когда Никола еще работал у Кнапена, он часто гулял по вечерам вдоль набережных острова Сен-Луи, откуда открывался прекрасный вид на утопающие в зелени берега Сены. Обыкновенно он уходил оттуда на закате. Однажды по дороге домой он увидел на набережной Сен-Мишель даму в черном атласном плаще с капюшоном; ее сопровождал господин средних лет в парике с косицей — то ли муж, то ли управляющий. Ножка в зеленом башмачке, равная которой была разве что у госпожи Парангон или герцогини де Шуазель, привела Никола в восхищение — мы уже знаем, что женские ножки были его слабостью. Лицо дамы скрывала вуаль, и Никола, как Бюффон, принужден был судить о целом по одной-единственной детали.

Никола пошел следом за таинственной парой; миновав мост, дама и ее спутник свернули на улицу Сен-Жак. На углу улицы Сен-Северен мужчина указал даме какую-то дверь, подождал, пока она войдет, постоял еще несколько минут и удалился. Больше всего Никола заинтриговало, что дама вошла в дом, пользующийся дурной славой: здесь помещалось заведение, где за карточным столом собирался всякий сброд. Недолго думая, Никола шагнул за незнакомкой. Войдя в залу, он тихо сел за стол и осмотрелся. В зале было много дам, и когда одна из них вставала из-за стола, Никола опускал глаза, ища зеленый башмачок, но не нашел ни башмачка, ни ножки, способной соперничать с ножкой госпожи Парангон и госпожи де Шуазель. Куда же исчезла загадочная гостья?.. В конце концов он решился спросить о ней у хозяйки; подойдя к этой разряженной особе, Никола признал в ней землячку, уроженку Нитри, некогда очень красивую, ставшую ныне одной из баронесс зеленого сукна. Встреча была трогательной. «Баронесса» вспомнила времена, когда была простой крестьянкой и сажала малыша Никола к себе на колени.

— Как ты сюда попал? — спросила она. — Я-то ладно, но мне больно, что сын порядочных людей оказался в таком месте.

Никола поведал ей о том, как влюбился с первого взгляда в зеленый башмачок на трехдюймовом каблуке и стройную ножку его обладательницы.

— Как могло случиться, что она вошла сюда на моих глазах, а теперь ее здесь нет?

— Она здесь, — отвечала «баронесса», — в соседней комнате, вон за той стеклянной дверью. Приосанься, быть может, она как раз смотрит на тебя.

— На меня? — переспросил Никола.

— Может, на тебя, а может, на кого-нибудь другого… Это знатная дама, ей любопытно знать, что происходит в домах, где ей заказано бывать, а если…

— Если что?..

— То, что я тебе говорю: держись молодцом… старайся понравиться!

Никола ничего не понимал. Около часу ночи игра закончилась, и, как бывает обыкновенно в таких заведениях, началось пиршество. Прекрасная незнакомка так и не появилась; хозяйка, ненадолго куда-то отлучавшаяся, вернулась, подошла к Никола и шепнула ему на ухо:

— Она выбрала тебя… Я рада, что счастье улыбнулось моему земляку. Но учти, есть одно условие… Лица ее ты не увидишь! Довольно того, что ты видел зеленый башмачок.

Наутро Никола проснулся в одной из комнат дома. Греза развеялась. Это была история Амура и Психеи наоборот: Психея улетела до зари, а Амур остался в одиночестве. Несколько сконфуженный, но совершенно очарованный незнакомкой, Никола пытался расспросить хозяйку, но та хранила молчание, без сомнения щедро оплаченное. Она даже хотела убедить Никола, что он хлебнул лишнего… и просто-напросто видел приятный сон. Но Никола, не пивший ничего, кроме воды, не дал обмануть себя.

— Ну что ж, — сказала Массе (так звалась хозяйка), — тогда держись. Ты не знаешь, кто эта дама, и никогда не узнаешь.

— Как! Я ее больше не увижу?

— А ты ее и не видел.

— Не смогу отыскать ее?

— Даже не пытайся. Впрочем, теперь она уже никогда не наденет зеленые башмачки, можешь быть уверен. И не станет ходить пешком, как вчера вечером. Забудь и думать о ней.

И чтобы придать своим словам больше веса, она вручила Никола туго набитый пистолями кошелек, который он с негодованием отшвырнул. Лишь много позже, рассказав эту историю в нескольких литературных салонах, Никола догадался, что в нее замешана некая очень знатная дама. Однако в ту пору мало кто брал на себя смелость настаивать на таких предположениях. Сегодняшние читатели, воспитанные на современных романах, удивятся, что Никола не искал незнакомку; но для безвестного и почти нищего наборщика это было слишком рискованным предприятием[7]. Да и сердце его было весьма непостоянно.

Через пятнадцать лет, в 1771 году, печальный долг призывает

Никола на родину. Он плывет из Парижа в Санс; грустный и задумчивый, прислушивается он к веселой болтовне нарядно одетых дам на корме.

— Сколько людей в эту минуту счастливы, а я, несчастный, еду к умирающей матери! — восклицает он.

Две дамы отделяются от остальных и проходят мимо Никола, укрывшегося в темном углу. Не замечая его, они продолжают начатый разговор.

— Как будем называть барышню, чтобы никто не отгадал ее настоящее имя? — спрашивает одна из них.

— Будем называть ее Королевна, — отвечает другая. — Она и вправду почти королевского рода, но кому это может прийти в голову?

— Да, она была бы королевной, — подхватывает первая со смехом, — будь она на самом деле дочерью принца де Куртене, представителя самого старинного рода во Франции, но, как бы ее мать ни старалась всех в этом убедить, никто ей не верит.

— Кто посмеет осуждать ее: ведь она хотела вдохнуть жизнь в этот древний род, благороднейший из всех, что существуют в христианском мире? Посуди сама, дорогая, вскоре Куртене останутся только в Англии. И что станет с гербом с пятью золотыми монетами, более славным, чем герб с лилиями?

— Родилась-то девочка, — говорит первая дама, — так что зря она старалась. Чтобы сохранить титул и унаследовать высокое положение, нужен был мальчик.

— Она сделала все, что могла. Не всякому везет с наследниками.

— А молодой человек был хорош собой?

— Она видела его, а он ее нет. Ему было лет двадцать…

Тут дамы заметили Никола, который стоял в тени, закрыв лицо руками, и, казалось, не мог их слышать.

— Бедняга! — сказала одна из них. — Он, кажется, очень страдает: от самого Парижа все плачет и плачет. Он уже немолод, но у него живые проницательные глаза… С каким умилением он смотрит на Септиманетту… И опять плачет. Вероятно, он потерял дочь таких же лет!

Тем временем девушка подошла к своим гувернанткам; Никола встал, сделав вид, что слышал только последние слова.

— Да, точно таких же лет! — произнес он с глубоким волнением, тронувшим и дам, и девушку. — Позвольте мне поцеловать ее.

Девушка с детской грацией подставила лоб.

— Простите, — осведомился Никола, — одна из вас, вероятно, ее мать?

— Нет… В ней течет кровь…

Но тут более суровая из дам взглядом велела своей товарке замолчать.

— О! Благородная кровь! — воскликнул Никола, так и не дождавшись конца фразы. — Какой счастливец ее отец!

— Отец ее не любит, ведь она девочка… а он хотел…

Первая дама вновь строго посмотрела на вторую, призывая ее к молчанию. Тут кош как раз подплыл к берегу; впереди зеленел луг, вдали виднелся замок. За дамами и девушкой приплыла лодка, на берегу их ждала карета с гербом.

— Мне так хотелось бы еще раз поцеловать ее! — попросил Никола.

Просьба его показалась на сей раз несколько нескромной, но из сочувствия к его горю это было ему позволено. Целуя девушку, Никола вынул из букета, который она держала в руках, цветок и вложил его в свою книгу. Кош поплыл дальше.

— Чей это замок? — спросил Никола у одного из моряков.

— Замок Куртене.

Значит, его незнакомка и вправду была знаменитая Септимания, графиня д'Эгмонт, дочь Ришелье и супруга принца, который не сумел сам обзавестись наследником. Теперь все разъяснилось, и Никола пожалел, что имел неосторожность хвастать этим приключением, ибо объявлять себя его героем было не весьма порядочно и вдобавок весьма рискованно. Только в 1793 году Ретиф решился предать огласке развязку истории; начало ее он обнародовал в 1746 году, так сильно изменив обстоятельства, что узнать героев было невозможно. В те времена подобные случаи были нередки; случалось даже, что мужья сами толкали своих жен на измену либо ради продолжения знатного рода и сохранения привилегий, либо для того, чтобы за отсутствием прямых наследников состояние не перешло к родственникам по боковой линии.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: ЗЕФИРА

А теперь мы расскажем еще одну удивительную историю, ее героиня — девушка низкого происхождения, но возвышенных чувств. После смерти госпожи Парангон не было в жизни писателя более горестной утраты, и он трижды поведал о ней — в романе, в драме и в мемуарах. История эта случилась, когда он служил наборщиком и еще не написал ни одной книги. Вероятно, она послужила толчком к созданию одного из его первых сочинений.

Однажды в воскресенье Никола проходил мимо Оперы, размещавшейся тогда в Пале-Руояле. В одном из окон на улице Сент-Оноре он заметил девушку, которая пела, аккомпанируя себе на арфе. На вид ей было лет четырнадцать, не более; божественная улыбка озаряла ее живое и нежное лицо, голос проникал прямо в сердце; когда она встала, в окне мелькнула тонкая, как говорили в те времена, осиная талия; все движения девушки полны были восхитительной грации. На какое-то мгновение Никола забыл о госпоже Парангон — но затем воспоминания нахлынули с новой силой, и это дало ему силы убежать от сирены.

Вечером он возвращался домой на улицу Сент-Анн той же дорогой. Девушка уже не сидела у окна, в розовых туфельках и в платье с оборками она шла вдоль торговых рядов по грязной мостовой. Никола был еще молод, в сердце его жила память о дорогом существе, поэтому, глядя на нее, он не испытывал ничего, кроме жалости. Он заговорил с бедняжкой, и она рассказала ему, что зовут ее Зефира, что живет она вместе с матерью, сестрой и подругами. Ответы ее отличались таким простодушием, вернее, таким неумением отличить добро от зла, добродетель от порока, что Никола показалось, будто она играет заученную роль. Он простился с девушкой и в глубокой задумчивости продолжал свой путь. Назавтра, возвращаясь из типографии вместе со своим соседом по комнате печатником Луазо, Никола рассказал товарищу о Зефире, сокрушаясь о судьбе бедной девочки, даже не подозревающей о том, что она погибшее создание; он хотел остановиться, чтобы расспросить ее подробнее, но Луазо, человек суровый, вдобавок вскоре собиравшийся жениться, увлек его прочь, толкуя об опасности, которая грозит всякому, кто склоняется над бездной.

— Даже чтобы кого-нибудь спасти? — спросил Никола.

Луазо кивнул головой, а Никола принялся разглагольствовать об испорченности жителей больших городов и обязанности

полиции блюсти нравы, упомянув мимоходом античных гетер и те достойные порядки, которые Жанна Неаполитанская ввела в славном городе Авиньоне. Доводы его были неиссякаемы, познания — неисчерпаемы. Добрый Луазо произнес в ответ всего несколько слов — он напомнил товарищу о госпоже Парангон. Никола прикусил язык; однако он ничего не мог с собой поделать и вечером вновь поспешил на улицу Сент-Оноре; с сочувствием глядя на бедную девочку, он еще раз поговорил с ней. Луазо опять пожурил его. Сам он теперь возвращался из типографии другой дорогой.

С недавних пор здоровье Никола пошатнулось: его стали мучить приступы удушья, длившиеся часами. Он не мог работать и слег. Луазо трудился за двоих, но средства их быстро истощились. Жили они в шестом этаже у зеленщика, прирабатывавшего расклейкой афиш. Все убранство каморки Никола состояло из убогого ложа, двух стульев, колченогого стола да старого сундука. Окном служило вентиляционное отверстие, заклеенное двумя кусками промасленной бумаги. Луазо жил за перегородкой, которую хозяин, чтобы закрыть щели, оклеил театральными афишами. Афиши эти служили больному единственным развлечением, он переводил взгляд с «Меропы» на «Альциону», с «Цыганки» на «Гувернантку», вспоминая то неподражаемую госпожу Фавар, то не столь талантливую, сколь хорошенькую мадемуазель Гюс; рядом висели афиши «Обманчивой наружности» с участием красавицы Геан и «Арлекина-дикаря», причудливой драмы, где блистала некая Коралина, чем-то похожая на… Зефиру. Вдруг дверь приотворилась, и в комнату заглянул хозяин.

— Вас спрашивает ваша кузина.

— Но у меня нет в Париже кузины.

— Вот видите, мадемуазель, — сказал зеленщик, оборачиваясь, — вы все выдумали… Таких девиц, как вы, не принимают дома.

— Да нет же, Никола мой кузен, — возражал приятный голосок, — я только что приехала из деревни.

— О! То-то вы такая нарядная, а он такой замухрышка…

Обладательница приятного голоса проскользнула под рукой у зеленщика в комнату.

— Ах, какая нищета!.. Но, сударь, ведь он же при смерти! — воскликнула она.

И правда, у Никола как раз начался приступ удушья.

— Что нужно сделать прежде всего? — спросила девушка решительным тоном. — Вот деньги. — И она протянула зеленщику несколько золотых монет.

— Прежде всего, — отвечал смягчившийся зеленщик, — нужно дать ему бульона.

— Так принесите же.

Придя в себя, Никола почувствовал, как одна маленькая ручка приподнимает его голову, а другая подносит ему ко рту ложку. Сомнений не было: этот ангел сострадания звался Зефирой. В то утро она встретила Луазо и спросила его:

— Отчего не видно вашего друга?

— Он сильно расхворался, — ответил Луазо.

Зефира спросила адрес Никола, Луазо назвал его и поспешил в типографию.

Пока Никола, которому полегчало, собирался с силами, чтобы привстать на своем убогом ложе, Зефира в платье из розовой тафты подмела каморку, навела порядок на столе и под столом, вновь подошла к постели больного, дала ему пилюли и английские капли, отерла лоб своим платочком и обвязала голову своей косынкой, затем вдруг выпалила:

— В таком наряде не ходят за больным, я скоро вернусь.

В ее отсутствие зеленщик принес еще одну чашку бульона.

— Ваша кузина, верно, горничная у богатых господ, — сказал он, — она заплатила мне за месяц вперед и подарила золотой крестик моей дочурке.

Тут Никола окончательно уверился в том, что бедная девушка — добрая фея, пусть она и не спустилась с неба, как другие феи, а поднялась к нему из бездны.

Зефира вскоре вернулась в простеньком платьице и просидела у постели Никола до вечера; зеленщик принес ей обед и, очарованный добротой и любезностью мнимой кузины, даже прибавил от себя скромный десерт, которым Зефира поделилась с больным. Тем временем стемнело; девушка с явной неохотой встала.

— Куда вы идете? — спросил Никола.

— Домой, меня уже ждут.

И она убежала, глотая слезы. Не успел Никола повторить про себя прощальные слова Зефиры, как на лестнице послышались шаги его друга Луазо.

Луазо вернулся в дурном расположении духа — товарищи по типографии смогли ссудить ему совсем ничтожную сумму, он принес только немного сахару для больного да хлеба для себя. Войдя, он почувствовал запах жаркого. То был обед Зефиры, оставшийся почти нетронутым.

— В добрый час, — сказал Луазо, — наш славный хозяин жалеет нас!

И он пододвинул стол, собираясь приняться за еду. На пол

упал кошелек с деньгами.

— Что это? — спросил Луазо.

Никола был удивлен не меньше товарища.

— Тебе что, прислали деньги из деревни? — недоумевал Луазо.

— Ну да, кому я там нужен!.. Кроме тебя и… Да это же она!

— Кто она?

— Зефира, которую ты встретил сегодня утром и которая ухаживала за мной, пока ты был в типографии.

— Как? Эта девица?

Честный Луазо совсем потерялся; он то восхищался добротой и преданностью девушки, то хотел отнести назад оставленные ею нечистые деньги. Наконец он спрятал деньги в сундук, чтобы завтра, когда она придет, вернуть ей.

Наутро Зефира появилась снова; она была так хороша, так простодушна, так трогательна, что Луазо расчувствовался.

— Какое мне дело до добродетели, — воскликнул он, — я преклоняюсь перед этой девушкой!.. Но деньги… Нет, мы не можем их принять…

Зефира поняла, что он имел в виду.

— Это деньги моего отца, — сказала она, — они хранились у моей старшей сестры, и она отдала их мне, узнав, что есть страдалец, который нуждается в помощи.

Луазо открыл кошелек и со слезами умиления пересчитал монеты. У двух друзей было столько неотложных долгов, что пришлось им на время забыть о щепетильности. В тот вечер Зефира засиделась у Никола допоздна. Когда Луазо вернулся из типографии, она попросила его проводить ее.

— Мне, — переспросил он, — провожать вас?

— Иначе меня арестуют.

— Ну что ж, пошли, — вздохнул Луазо, — хорошенькая же будет у меня репутация в округе!

Сама же Зефира смотрела на свою жизнь очень просто. Мать объяснила ей, что женщины делятся на два разряда, каждый из которых по-своему порядочен и по-своему полезен. Коль скоро Зефира не принадлежит по рождению к первому, значит, она принадлежит ко второму, вот и все.

Назавтра было воскресенье, и она провела его у двух друзей:

— Я все рассказала матушке, и она отпустила меня на весь день. Она одобряет мои чувства, она говорит, что пусть уж лучше я хожу к простому рабочему, коли он хороший человек, чем к приставу, который будет меня колотить, или к игроку, который меня оберет. Матушка такая добрая…

Луазо хмуро молчал; Никола, который уже начал

поправляться, вдруг вскочил с прежней живостью и надел свой единственный сюртук.

— Пойдем к ее матери, — сказал он Луазо.

— Ложись в постель, — ответил тот.

— Ни за что! В постели я умру от горя. Девушка не должна возвращаться в этот ужасный дом… В болезни моей наступил перелом: приступы удушья прошли, зато каждую ночь после ее ухода меня трясет от ярости, ты понимаешь почему?

Луазо пытался его отговорить. Тщетно! Никола был так взволнован, что ничего не желал слушать. Они отправились на улицу Сент-Оноре к матери Зефиры, которая звалась Перси. Когда-то она была старьевщицей, потом давала деньги в рост и содержала дом свиданий, но однажды к ней нагрянули стражи порядка; ей пришлось заплатить большой штраф, впрочем, не столько за нарушение закона, сколько за то, что не делилась с ними своими барышами. С тех пор она стала исправно платить налог и зажила припеваючи. Перси сказала, что дочь ее девушка порядочная, но как только она войдет в возраст, то, с ведома лейтенанта полиции, тоже займется делом. Планы эти, которыми Перси делилась охотно и подробно, ужаснули друзей. Луазо не мог сдержать негодования.

— А что прикажете делать? — возразила Перси. — Все знают, какое мое ремесло. Кто возьмет ее замуж? Да и захочет ли она с ее воспитанием, красотой и способностями сделаться белошвейкой или пойти в прислуги и жить на несколько су в день? Да если бы и захотела, разве что-нибудь переменилось бы? Кому она нужна? Известно, чем кончают красивые девушки из народа…

— Так вот, — сказал Никола, — я женюсь на ней, если ноги ее не будет в вашем доме и она станет трудиться.

Перси бросилась ему на шею:

— Ты не шутишь, мой мальчик? Надо же, ты довел меня до слез, а я уж отвыкла плакать… Послушай-ка: не думай, что у моей девочки совсем нет приданого… и денег, добытых честным путем. Я торговала поношенным платьем, я давала деньги в рост: это честный доход.

— Мне ничего не надо, — сказал Никола, — я уже здоров и могу работать, жалованье у меня хорошее… Так вы согласны, чтобы ваша дочь больше сюда не возвращалась?.. По правде говоря, вы добрая женщина.

— Боже мой! — воскликнул Луазо. — Ужели ростки добродетели есть даже в таких душах?.. Я и не подозревал об этом… Впрочем, я предпочел бы не знать этого и дальше.

Луазо был прав: легче считать, что, однажды ступив на стезю

порока, человек гибнет, гибнет безвозвратно и спасти его может только раскаяние, чем разбираться в причудливом смешении добра и зла. Луазо рассуждал как человек примитивный, но благоразумный. К несчастью, Никола не был ни тем, ни другим.

Зефира была на седьмом небе: посвятить жизнь своему избраннику!.. Порукой ее добродетели служила любовь. Однако прежде всего славному Луазо пришлось преподать ей уроки хороших манер и стыдливости. До сих пор она читала только романы Кребийона-сына да Вуазенона, теперь ей дали прочесть высоконравственные книги. Ее обучили говорить не так, как она привыкла, и только когда от чересчур вольного обращения и легкомысленной болтовни не осталось и следа, стали подыскивать ей место. Невеста Луазо мадемуазель Зоя помогала двум друзьям в воспитании Зефиры. Она же нашла ей место в модной лавке на углу улицы Гранз-Опостен. Скромное платье, ненапудренные волосы и тюлевый чепчик изменили облик девушки до неузнаваемости. Никола уведомил обо всех этих переменах мать Зефиры, она одобрила их и обещала не искать встречи с дочерью, пока та не кончит ученье.

Никола мог видеть Зефиру только по воскресеньям; в этот день мадемуазель Зоя заходила за ней, и они вчетвером отправлялись за город. Всю неделю Никола с нетерпением ждал свидания и каждый вечер прохаживался перед лавкой, заглядывая в окна; его считали верным поклонником одной из девушек, но не знали, какой именно. Парижских лавочниц такой любовью на расстоянии не удивишь — это дело обычное. В одну из встреч Никола условился с Зефирой, что будет каждый день писать ей. Она садилась с работой у окна, а он аккуратно складывал свое послание гармошкой и просовывал его в щель. Зефира ловко вытаскивала листок — и целый вечер была счастлива. Иногда, когда девушки были уже в постели, Никола с Луазо, который недурно играл на лютне, приходили на пустынную улицу и исполняли арии из новейших опер, такие как «Мне Амур нарисовал» или «Здесь, в прелестном уголке», — выбирая преимущественно куплеты, где встречается слово «зефир»… Влюбленные непритязательны.

Воскресные дни друзья проводили обыкновенно на монмартрских холмах. Однажды в трактире у них случилась ссора с мушкетерами. Один из них вспомнил, что как-то видел Зефиру на улице Сент-Оноре. Встретив девушку в обществе простых рабочих, мушкетеры захотели ее отбить. К счастью, силы у противников были равные: мушкетеров было трое, а друзья в тот день пришли вместе со своим квартирным хозяином зеленщиком; но мушкетеры были при шпагах, а Никола и Луазо

безоружны. Зато зеленщик, почуяв неладное, притащил из кухни длинный вертел.

— Берегись, негодяй! — заорал один из забияк при виде этого орудия. — Мы дворяне и засадим тебя в Шатле.

— Вы бесчестите ваше имя и военный мундир! — крикнул Никола.

— Нашел о чем говорить!.. Сами водятся с кем попало! Спросите-ка у этой вашей Зефиры, кто ей милее: дворянин или рабочий?.. У нас есть золото, красотка! — добавил мушкетер, позвякивая кошельком.

Защитники Зефиры старались избежать драки, но эти слова вывели Луазо из себя.

— Какая гнусность! — воскликнул он. — Вы совершили тяжкое преступление… Вы насмеялись над возвратом к добродетели.

— Вот еще! — фыркнул мушкетер, выпивший больше других. — Нашли добродетель! А эта красотка тоже из добродетельных?

И он попытался обнять Зою. Луазо резко оттолкнул его:

— Я требую уважения к невесте гражданина! (Дело происходило в 1758 году.)

— Гражданин! — расхохотался мушкетер. — Так говорят только в Женеве… Ты часом не гугенот?

В ответ Луазо схватил табуретку и ударил его; началась драка. Зефира и Зоя пытались разнять дерущихся, но им это не удавалось. Зеленщик очень ловко орудовал вертелом, и мушкетерам пришлось несладко, но тут подоспела стража. Никола вошел в такой раж, что продолжал размахивать стулом. Луазо остановил его, и Никола оставалось лишь унести из залы лежавшую без чувств Зефиру. Когда прибыл полицейский комиссар, мушкетеры, чтобы выгородить себя, стали утверждать, что серьезный молодой человек в черном (Луазо) — протестантский пастор; они говорили, что подоспели как раз вовремя, чтобы разогнать еретиков, слушавших его проповедь. Комиссар поверил и приказал надеть на Никола и его друзей наручники, грозя им виселицей, но тут один из мушкетеров, не такой пьяный, как остальные, соизволил наконец признать, что он и его спутники слегка погорячились.

— Вот подлинное великодушие, — восхитился комиссар. — Сразу видно людей благородного происхождения.

— По правде говоря, как почитаешь, что сочиняют подлые писаки, хочется плюнуть на свои дворянские привилегии, — сказал мушкетер рабочим.

Но, уходя, добавил с прежним высокомерием:

— Так и быть, мы отрежем вам уши как-нибудь в другой раз!

Записав имена и адреса участников драки, комиссар ушел. Хотя мушкетеры отказались от своих обвинений, для таких бедняков, как Никола и Луазо, приключение могло кончиться плачевно; вдобавок даже самое поверхностное дознание непременно всколыхнуло бы щекотливый вопрос о происхождении Зефиры, невольно ставшем причиной ссоры. Впрочем, бедная девушка больше думала об опасности, грозящей ее друзьям; вечером у нее началась лихорадка. Модистки уже вернулись; и они, и хозяйка слышали, как Зефира бормочет в бреду: «Я пойду к матушке, у нее есть могущественные заступники… Правда, я поклялась, что ноги моей не будет в ее доме… но надо пойти… Матушка близко знакома с лейтенантом полиции: он помог ей выправить бумаги… Матушка богата… и знакома со знатными дамами… Матушка всегда рада помочь!.. Все эти люди ее погубили… но у нее доброе сердце!.. Иначе Никола и Луазо повесят как гугенотов, и все из-за меня… Почему? Потому что я дочь… своей матери!..»

Слыша эти сбивчивые признания и видя изумление модисток, Луазо и Зоя очень встревожились. Пришлось рассказать им всю правду; впрочем, опасения их были напрасны: девушек растрогала горестная судьба товарки. Никола при этом не было: он не появлялся в лавке, чтобы не скомпрометировать Зефиру. И он не подозревал, как тяжко захворала его возлюбленная: ему казалось, что она не вполне оправилась от обморока, только и всего. Вечером Луазо ничего ему не сказал. Лишь наутро, когда Никола несколько успокоился, Луазо со всей осторожностью сообщил ему о болезни Зефиры. Никола, забыв обо всем на свете, ринулся в лавку.

— Входите же, — сказала хозяйка, — я знаю, кто вы… Поднимитесь к ней, она все время зовет вас.

Зефира была слаба и грустна, но спокойна. Она уверяла Никола, что просто устала и нуждается в отдыхе; она уговорила его пойти в типографию и на прощанье дважды поцеловала со словами: «До вечера». В типографии все обратили внимание на необычайную бледность Никола. В восемь часов Луазо сказал:

— Давай перекусим, потом я зайду за Зоей, и мы все вместе навестим Зефиру. Пока мы будем у нее, ты постоишь за дверью, чтобы ее не волновать: больно уж ты бледный.

Никола послушался и не входил в комнату, но ему был слышен голос возлюбленной. Выйдя от Зефиры, Луазо сказал:

— Иди, отдыхай, ей полегчало: теперь я больше тревожусь за тебя…

Утром Никола обнаружил, что каморка его друга пуста; он

узнал от зеленщика, что Луазо не ночевал дома. Никола помчался в типографию. Луазо стоял у наборной кассы.

— Как Зефира?

— Мы с Зоей всю ночь не отходили от ее постели.

— Боже мой! А я спал!

— У тебя такой вид, что ей стало бы только хуже!

— Как она себя чувствует?

— Гораздо лучше.

При последних словах Луазо густо покраснел и попытался переменить тему: заговорил было о новом срочном заказе, но Никола не стал слушать — он схватил сюртук и кинулся в лавку. Луазо пришел следом за ним. Зефира задыхалась; взяв своего возлюбленного за руку и силясь улыбнуться, она прошептала:

— Это пройдет.

Больше Никола не оставлял ее ни на минуту.

Вечером, когда Зоя ненадолго прилегла, Зефира жестом показала Никола, что хочет положить голову ему на грудь… Он откинулся на спинку стула, и девушка, два дня назад еще полная жизни, склонила белокурую головку на его плечо. Просидев в этой неудобной позе часа два, Никола громко вздохнул. Зоя проснулась.

— Вам надо отдохнуть… Я сменю вас, — проговорила она и переложила голову Зефиры на подушку.

Она не сказала Никола, что его возлюбленная мертва. Друзья сообщили ему об этом лишь на следующий день.

— Я тоже умру, — произнес он спокойно.

Сам он признавался впоследствии, что был упоен своим горем.

Много дней провалялся он в бреду и беспамятстве, но остался жив. Очнувшись, он проговорил:

— Теперь я окончательно утратил госпожу Парангон.

Ибо Зефира живо напоминала ему госпожу Парангон, как та, в свой черед, казалась ему похожей на Жаннетту Руссо, предмет его первой любви.

Теория сходства — одна из излюбленных идей Ретифа, лежащая в основе многих его романов. Есть люди, для которых важна не столько душа, сколько наружность; в этом есть что-то от язычества, и сколько бы Ретиф ни уверял нас, не верится, что он всю жизнь любил одну женщину — в трех лицах. Сходство почти всегда объясняется тем, что люди происходят из одних мест либо находятся в родстве; Жаннетта Руссо и госпожа Парангон и вправду были землячки. Поэтому Ретиф предполагал, что мать Зефиры также родом из этих мест. Вообще Ретиф даже самые правдивые рассказы о своей жизни неизменно перемежал

философскими рассуждениями. Он, словно индус, был уверен, что люди разделены на касты, и потому отвергал учения об абсолютном равенстве, его не могло поколебать даже то, что в иных семьях муж принадлежит к одному сословию, а жена — к другому, ибо он был убежден, что одни дети больше походят на отца, другие — на мать; впрочем, он признавал, что в Европе есть выродки, в чьих жилах течет смешанная кровь. Многие утонченные умы XVIII столетия размышляли на досуге над подобными проблемами, но никто не заходил в своих теориях так далеко, как Ретиф, в чьих парадоксах порой встречаются проблески истины.

Как ни чиста была душа Зефиры, чью смерть Никола воспринял как искупление, мы вынуждены с грустью признать, что встреча с этой девушкой оказала на произведения и нравы писателя самое пагубное влияние. Луазо был прав: нельзя безнаказанно прикоснуться к пороку. Плодом размышлений Никола о судьбе определенного разряда женщин, которых он хотел поднять как в их собственных глазах, так и в мнении света, стал «Порнограф», произведение, призванное блюсти нравственность, но полное суждений, нравственность которых весьма сомнительна.

САРА

Мы подходим к эпохе, изобилующей суровыми уроками и оставившей по себе тяжкие воспоминания. Никола уже не первый танцор Осера, любимец госпожи Парангон, возлюбленный одиннадцати тысяч дев и — в той или иной мере — мучениц, звавшихся Жаннетта Руссо, Маргарита Парис, Манон Прюдо, Флипота, Тонтон Лакло, Коломба, Эдме Сервинье, Дельфина Барон и Роза Ламблен… он уже не пылкий поклонник мадемуазель Прюдом и красавицы Геан и не безымянный любовник, которого белокурая Септимания, графиня д'Эгмонт, выбрала, дабы вознаградить себя за холодность высокородного супруга. На календаре 1780 год, Никола сорок пять лет. Он еще не старик, но молодость прошла; голос у него хрипловатый, лицо в морщинах, а из-под небрежно надетого парика выбиваются серебристые прядки. Богач может вволю тешить себя иллюзиями, покупая их за бешеные деньги, как первые весенние овощи или редкие цветы посреди зимы, бедняку же приходится рано или поздно смириться с грустной реальностью, которую прежде скрывало от него воображение. Горе безумцу, который поверит лживым клятвам молоденьких девушек! До тридцати лет мы легко оправляемся от любовных неудач; после сорока каждое новое поражение бередит старые раны. Зрелый мужчина страдает вдвойне: сердце его разбито, достоинство оскорблено.

Итак, в ту пору Никола квартировал на улице Бьевр у госпожи Дебе-Лееман. Эта сорокалетняя, не утратившая привлекательности еврейка родом из Антверпена называла себя вдовой, при ней жил некий господин Флоримон, старый волокита, растративший на женщин все свое состояние и низведенный до роли козла отпущения. Первое время Никола почти не замечал дочь госпожи Лееман, девочку лет четырнадцати, очень похожую на мать, но юную и свеженькую. Он вспоминал о девочке, только когда слышал, как мать бранит ее или бьет. Но прошло четыре года — и она превратилась в статную блондинку с нежной белой кожей; в манерах ее, движениях, походке появилась грациозная небрежность, а в глазах светилась такая трогательная грусть, что Никола не мог смотреть на нее без слез. Это сердце его, которое он считал мертвым, подавало знак, что оно просто спало, а теперь просыпается.

Никола уже очень давно жил один и ни с кем не знался — днем он работал, вечерами бродил по пустынным улицам. Друзей у него не осталось — одни умерли, другие разъехались; мало-помалу он потерял интерес к жизни и впал в глубокую апатию —

слишком бурная юность часто кончается полным безразличием. Впрочем, утратив бодрость духа, он взамен обрел спокойствие… но вот однажды воскресным утром маленькая белая ручка тихо постучала к нему в комнату. Он отворил дверь. На пороге стояла Сара:

— Господин Никола, не могли бы вы дать мне какую-нибудь книгу, которая вам сейчас не нужна, у вас их много, а я люблю читать.

— Выбирайте, мадемуазель, — сказал Никола, — все книги до единой в вашем распоряжении.

Скромность Сары, ее румянец, ее замешательство были столь неподдельны, она так робела и так боялась показаться навязчивой, что Никола пришел в полное восхищение. Девушка пробыла у писателя совсем недолго и на прощание подставила ему лоб для отеческого поцелуя.

Всю неделю Сара работала у барышень Амеи, куда мать отдала ее учиться плести кружева, а воскресные дни проводила дома. Поэтому она снова и снова приходила за книгами, которые Никола в конце концов стал ей дарить. Не было ничего чище и трогательнее этих первых встреч. Правда, Никола слышал нелестные отзывы о девушке, но считал их клеветой. Он полагал, что в дурной славе виновата мать, известная своей алчностью, у самой же Сары был такой простодушный вид, что Никола не простил бы себе, если бы словом, жестом или даже взглядом смутил ее чистоту и невинность; он относился к ней с почтением и предупредительностью, не признаваясь себе в природе своих чувств. Но Сара все поняла, вернее, за нее это поняла мать; отныне девушка стала наведываться чаще и вести более задушевные речи; для начала она принесла с собой несколько тщательно выбранных песенок из тех, что зовут «брюнетками», и спела одну из них, лучше всего выражавшую ее отношение к Никола.

В сорок лет страсти разгораются не так быстро, как в двадцать, но в сердце таится гораздо больше нежности: мужчина не так пылок, не так неистов, не так порывист, зато исполнен преданности и готов на любую жертву ради любимой. Он страшится будущего и цепляется за прошлое в надежде спастись от смерти, он хочет начать жизнь сначала, и чем моложе любимая женщина, тем сильнее и сладостнее его чувства. Нетрудно догадаться, с каким восторгом слушал Никола слова, лившиеся из прелестнейших в мире уст:

Весь день душа больная ноет,
Томясь в мучительном огне,

И ночь придет — не успокоит,
То радостно, то страшно мне.

Забудусь — о тебе мечтаю
И брежу именем твоим;
Очнусь ли — вновь от страсти таю.
Ты сердцем овладел моим[8].

— Поете вы с чувством, — сказал Никола. — Но так ли нежно ваше сердце, как ваш голос?

— Ах, сударь, — отвечала Сара, — если бы вы меня знали лучше, вы не задали бы мне этого вопроса, но, когда вы узнаете меня ближе, вы сами увидите, постоянна ли я в своих чувствах.

— Вот самое приятное, что я мог услышать из ваших дивных уст.

— Боже мой, но это так естественно. Ведь если ты однажды кого-нибудь полюбила, разве это не на всю жизнь? Ужели можно забыть любимого человека?

— Поистине сладостная мораль!

— Ей учит нас природа.

— Вы рассуждаете как истинный философ, мадемуазель.

— В самом деле, я немного разбираюсь в людях… Я как-нибудь расскажу вам об этом.

Никола насторожился, но быстро успокоился: девушка с наивным воодушевлением сообщила, что они с матерью бывали в гостях у замечательных людей, например у одного придворного, в чьем загородном доме, в нескольких лье от Парижа, собиралось высшее общество. Быть может, Никола придал бы большее значение этим ее словам, если бы Сара вдруг не переменила тему разговора.

— А знаете, — щебетала она, — ведь я воспитывалась в монастыре… И получила там такое образование, что задумала написать пьесу. Ах! театр — вот что было моей истинной школой. Если бы не матушка, я бывала бы там еще чаще, но она не любит хорошие спектакли, она скучает даже на комедиях, ей нравится только Николе с его канатными плясунами. Одино — и тот чересчур серьезен для нее или, если угодно, чересчур…

Сара не осмелилась закончить фразу. Позже Никола понял, что она хотела сказать «чересчур благопристоен».

— Ну что же, — сказал он, помолчав, — коль скоро вас влечет к себе театр, надо вам попробовать себя, свое изящество и ум на этом поприще.

— Нет, — отвечала она, — я берегу все это для более важного

дела.

— Какого же?

— Я хочу заслужить ваше уважение.

Удар попал в цель, Никола расчувствовался и сжал девушку в объятиях.

Сара приходила все чаще и чаще. Госпожа Лееман, как ни странно, смотрела на это сквозь пальцы. Между соседями завязались дружеские отношения. На Крещенье Никола принес семье госпожи Лееман гостинец — пирог с запеченным бобом. За столом Флоримон, нахлебник госпожи Лееман, развлекал всех своей болтовней, изъясняясь с изысканной вежливостью, которой, по его словам, научился в свете. Пирог доели, но боба в нем не оказалось; Сара заподозрила, что Флоримон утаил его, чтобы не платить выкуп.

— С чего бы это? — удивилась госпожа Лееман. — Деньги-то все равно мои.

Флоримон возражал с видом оскорбленной невинности.

— Скорее всего, — сказал Никола, — это я ненароком проглотил боб, так что считаю своим долгом угостить вас вином.

Удовлетворение Флоримона и восторг госпожи Лееман и Сары с лихвой вознаградили его за жертву.

Назавтра к Никола пришла госпожа Лееман:

— Мне надо поговорить с вами о дочери.

И она рассказала ему, что прочила Саре в мужья некоего господина Деларбра; этот молодой человек часто бывал у них в доме, а потом вдруг исчез. Она осведомилась, говорила ли Сара Никола о своих отношениях с Деларбром, впрочем вполне невинных.

— Да, — ответил он, — но как о чем-то давно забытом.

Деларбр не пара ее дочери, продолжала госпожа Лееман. Недавно, добавила она с гордостью, Сара получила новое предложение. Господин де Весгон, давний друг дома, хочет подарить ей двадцать тысяч ливров и тем обеспечить ее будущее; этот почтенный человек поступает так из чисто отеческих чувств, в память о дружбе, которая некогда связывала его с отцом Сары… Но Сара отказывается от денег господина де Весгона, и госпожа Лееман, не в силах побороть ее упрямство, просит Никола помочь ей переубедить дочь, она уверена, что девушка послушается советов такого умного человека.

Никола был неприятно удивлен. Госпожа Лееман пожаловалась на здоровье:

— Что будет с бедной Сарой, если меня не станет? У меня есть опыт, господин Никола: годы идут, красота вянет… эта сумма обеспечила бы Саре небольшую пожизненную ренту,

которая, вкупе с тем, что останется после меня, позволила бы ей жить безбедно…

Никола покачал головой, но госпожа Лееман продолжала настаивать, заклиная его дружескими чувствами, которые он питает к ее дочери, и даже предложила познакомить как-нибудь за ужином с господином де Весгоном, дабы он мог убедиться в чистоте побуждений старца.

Никола был уязвлен в самое сердце и всю ночь не сомкнул глаз. Наутро Сара, как обычно, поднялась к нему. Он начал с вопроса о двадцати тысячах ливров и спросил девушку напрямик, может ли она принять эти деньги без ущерба для своей репутации. Сара опустила глаза, густо покраснела, села к Никола на колени и заплакала. Никола умолял ее ответить.

— Ах, если бы вы знали! — простонала она между двумя всхлипами.

— Доверься мне, милое дитя.

— Я так несчастлива!

— Несчастлива? С каких пор и отчего?

— С рождения… Моя мать…

Казалось, Саре трудно говорить.

— Моя мать, — произнесла она наконец, — повинна в смерти моей сестры. Я тогда была совсем ребенком, только и знала, что хохотать да резвиться… С тех пор я сильно переменилась! Мать внушает мне ужас, едва заслышав ее шаги, я начинаю дрожать от страха!

И она рассказала ему о временах, когда они с матерью жили на маленькой улочке в квартале Маре, у столяра. Вдова часто приводила в дом мужчин, всякий раз новых, а девочку отсылала на чердак, где та страдала от холода и даже от голода… Когда Сара слишком громко кричала, мать приходила в ярость, щипала ее, выкручивала ей руки или разбивала в кровь лицо. А однажды на чердак ворвался мужчина, и…

— Бедное дитя! — воскликнул Никола.

— О мой друг! О мой отец! — продолжала Сара, в слезах бросаясь в его объятия. — Я давно поклялась, что никогда не выйду замуж… во всяком случае за человека молодого…

Никола посмотрел на нее с нежностью:

— За человека молодого! А как же юный Деларбр, который несколько месяцев назад бывал здесь… так часто?

— Деларбр, — вздохнула Сара. — Ах! Не стану лгать, я его любила… во всяком случае, так, как может любить несмышленое дитя… но он больше не придет… Я ему все рассказала!

Никола уронил голову на руки, помолчал, потом с горечью воскликнул:

— И он тебя бросил! Не понял, что твоя чистая душа… тысячу раз искупает подлость, жертвой которой ты стала!

Здесь Никола невольно вспомнил госпожу Парангон. Образ этой женщины преследовал его, как рок, и вот он опять возвращался в новом обличье бередить его незаживающую рану. Никола вскочил и в отчаянии заметался по комнате. Сара, не вполне понимавшая его горе, подбежала к нему, усадила и, улыбаясь сквозь слезы, принялась целовать:

— Ах, стоит ли меня жалеть? Стоит ли так отчаиваться? Защитник мой, мой наставник, подумайте сами, разве все это может помешать нашей нежной дружбе? Я не виновата, увы, и вам нечего мне прощать… И потом, если бы Деларбр меня не бросил, разве я сейчас была бы здесь, с вами… у вас в объятиях… разве могла бы болтать с вами, плакать… смеяться?

Она снова села к Никола на колени и, обвив его шею рукой — рукой зрелой женщины, — стала перебирать розовыми пальчиками его густые кудри.

В сердце писателя понемногу возвратился покой, тревога улеглась. Как зачарованный, смотрел он на прекрасные черты девушки.

— Что с вами? — спросила Сара, видя, что он задумался.

Признание, так долго сдерживаемое, сорвалось с его уст:

— Я думаю о тебе, прелестное дитя. Пора наконец сказать: я давно тебя люблю… и все время избегал тебя, боясь твоей молодости и красоты.

— Все время, пока я сама не пришла к тебе однажды утром!

— Что я мог тебе предложить? Сердце, иссохшее от горя… и раскаяния!

— О чем же тебе теперь горевать? Разве теперь твое сердце не покойно?

— Оно никогда еще не билось так сильно… вот послушай.

— Ах! Это, наверно, оттого, что…

— Отчего?

— От любви… — прошептала Сара.

Никола опамятовался; писательский опыт на миг вернул ему силы.

— Нет, — сказал он серьезно, — я питаю к тебе, дитя мое, только искренние и ровные дружеские чувства.

— А если бы я полюбила вас?

— Твоя любовь прошла бы слишком скоро.

Сара потупилась.

— Год тому назад, — продолжал Никола, — я в очередной раз поддался очарованию…

— Чьему? — спросила Сара, быстро вскинув глаза.

— Я был очарован образом, который сам придумал, прихотью воображения, мимолетной, как сон, — я даже надеяться не смел, что сон этот станет явью, — несбыточной мечтой, одной из тех, за которыми я гонялся всю жизнь и которые по воле неисповедимой судьбы иногда сбывались.

— Но что это был за образ? Что за сон?

— Это была ты.

— Боже мой, я!

— Ты бегала по дому, я встречал тебя на лестнице, на улице… ты становилась все взрослее, все прекраснее, по вечерам я иногда заставал тебя на пороге, беседующей с молодым Деларбром…

Сара покраснела:

— Но клянусь вам…

— Ах, да какая разница! — решительно сказал Никола. — Разве он не был молод, хорош собой и, следовательно, достоин тебя?.. Разве это не естественно, разве это не радует душу — чистая любовь двух юных прекрасных существ?.. А я любил тебя по-иному — как любят странные видения, являющиеся нам в снах… мы просыпаемся, охваченные дивной страстью — слабым отблеском юношеских безумств… а через минуту уже смеемся над собой!

— О боже! Сразу видно, что вы поэт!

— Вот именно. Ведь мы, поэты, не живем! Мы анализируем жизнь!.. Другие люди для нас только игрушки… и они жестоко мстят за себя! Дружба, любовь — что это? Так ли уж я уверен, что любил? Дневные образы для меня ничуть не более реальны, чем ночные видения. Горе тому, кто нарушит мой вечный сон, не будучи бесплотным образом!.. Как художник, бесчувственный ко всему, что его окружает, хладнокровно пишет с натуры битву или бурю, так мы смотрим на людей как на модели для своих творений, видим в страстях материал для изображения, и всем, кто вторгается в нашу жизнь, суждено стать жертвами нашего эгоизма, как сами мы — жертвы собственного воображения!

— Вы меня пугаете! — воскликнула Сара.

— Не бойся, — отвечал Никола, — тебе ничто не угрожает. Просто у меня есть опыт, дорогое дитя; я научился разбираться и в других, и в себе, в сердце у меня горечь, но я ни на кого ее не изливаю… Знаешь ли ты, что мы, поэты, делаем с нашими чувствами?.. Мы претворяем их в книги, чтобы заработать на жизнь. Так поступал женевец Руссо, так поступил я сам в «Совращенном поселянине». Я поведал историю моей любви к несчастной женщине из Осера, которой уже нет в живых, но я был скромнее, чем Руссо, я не был откровенен до конца… быть может,

оттого, что пришлось бы рассказать…

Он замолчал.

— О, дайте же мне прочесть эту книгу! — взмолилась Сара.

— Позже, не сейчас!.. Но послушай, сейчас ты увидишь, как опасно дружить со мной… Я уже вывел тебя в «Современницах»!

— Замечательно! — Девушка захлопала в ладоши. — Но каким же образом?

— Раз ты милостиво прощаешь меня, прелестное дитя, то вот тебе книга. Видишь, героиню этого рассказа зовут Аделина. Так я нарек тебя.

— Ах, какое красивое имя! Так меня и зовите… А кого она любит?

— Шавиньи.

— Шавиньи?.. Значит, так вы назвали себя.

— Нет, я назвал так молодого Деларбра, который в ту пору приходил сюда каждый день. Видя, как он предупредителен, как влюблен, как нежен, я вспомнил свою юность… Я представлял себя на его месте, воображал, что ты любишь меня. Ах! Я был бы еще нежнее, еще восторженнее… Деларбр — всего лишь беспомощная и бледная копия с меня в юности, однако я не мог его ненавидеть… Я ни на что не надеялся. Лишь в одиночестве, сам с собой, говорил я о чувствах, которые питал бы к тебе, будь я на его месте. Он любил тебя, я же тебе поклонялся… Если бы ты предпочла другого, я ревновал бы за него… я убил бы его соперника!.. Я бы женился на тебе, будь я на его месте.

Сара стыдливо спрятала лицо на груди Никола, потом взглянула на него, улыбаясь сквозь слезы:

— О, говори, говори, но позволь мне восхищаться тобой, твоим пылом, твоей добротой, твоим гением… До сих пор я больше всего любила слушать тебя… Теперь я смотрю на тебя, и ты кажешься мне молодым и прекрасным. О, как я завидую тем, кого ты любил!

— Лишь одна из них была достойна тебя, моя Сара! Но она питала ко мне только дружеские чувства… Ее уже нет в живых… Поговорим же еще о странной любви, где я представлял себя на месте того, кто казался мне более достойным твоей любви. Ты не знаешь, как далеко заходил я в своих безумствах… Я люблю гулять по вечерам на острове Сен-Луи, там самые красивые в мире солнечные закаты. Так вот! Я любовался ими, опираясь на парапет набережной, и украдкой нацарапал на сером камне начальные буквы имени, которым я тебя назвал: Ан. Ад. Это значило: Ангел Аделина.

— О, в первый же погожий день мы вместе пойдем туда, ты покажешь мне эти буквы и расскажешь все, что думал, когда

писал их! — потребовала Сара.

— Да, друг мой, раз ты этого хочешь… Но, увы, я постарел еще на год и столько выстрадал!

Сара бросилась к нему на шею; смех и слезы ее проливали божественный бальзам на раны несчастного.

— Я разделю все твои горести! — говорила она. — Ты расскажешь мне о той женщине из Осера, которую ты так любил…

— О! — отвечал Никола. — Столько радости… столько горя… сердце мое не выдержит! Да благословит тебя Бог, дочь моя, дитя мое! Да, я люблю тебя… у меня еще хватает безумия тебя любить, прости меня…

В этот момент на лестнице послышался голос госпожи Лееман; она звала дочь обедать.

— Мне пора идти, — заторопилась Сара, — но прежде я хочу сказать вам еще несколько слов.

— Ты снова говоришь мне «вы»?

— Нет, это по рассеянности… Я хотела рассказать тебе об одной моей подруге — ты, быть может, видел ее у меня, она тоже работает у барышень Амеи… Ее зовут мадемуазель Шарпантье.

— Я ее видел, она прелестна.

— Она такая добрая!.. Но мне неловко просить тебя…

— Что случилось? Сейчас же признавайся, милое дитя!

— Я так боюсь показаться нескромной… У моей подруги умерла мать, она долго болела и не оставила дочери ничего, кроме долгов. Как бы я хотела быть богатой, чтобы ей помочь!.. Ей приходится очень туго, сейчас ей так нужен один луидор!.. Через полтора месяца она тебе его непременно вернет.

— Один луидор! Всего один луидор! — воскликнул Никола и, достав из большой шкатулки два луидора, вложил их в белую ручку Сары, присовокупив к ним поцелуй.

— О, как она обрадуется! — прощебетала Сара и побежала вниз.

С этого дня отшельничеству Никола пришел конец. Вдова Лееман после признаний Сары вызывала у него отвращение, но желание видеть девушку почаще пересилило его; он завязал дружбу с господином Флоримоном, без устали восторгаясь его аристократическими замашками, и старался угодить вдове, заказывая в трактире ужины для всей честной компании; при этом он не забывал позаботиться, чтобы среди блюд были индейка или гусь, которыми скупая госпожа Лееман кормила потом своих домашних несколько дней.

Мы уже говорили, что Сара могла приходить к Никола только по воскресеньям, ибо всю неделю она проводила у барышень

Амеи. Но вот однажды в понедельник он услышал на лестнице громкие голоса.

— Бесстыдница! — кричала госпожа Лееман дочери.

— Никакая я не бесстыдница, да только это не ваша заслуга! — отвечала та.

— Подожди у меня, негодница, вот я тебе!..

Никола выскочил из комнаты.

— Полюбуйтесь на дочь, которая грубит матери! — воскликнула госпожа Лееман, ища сочувствия.

Никола бросился к девушке:

— Сара, дорогая моя, успокойтесь!

Но Сара глядела на него весьма неприветливо и смягчилась лишь перед уходом. Когда дверь за ней закрылась, госпожа Лееман пожаловалась Никола:

— Как тяжко отпускать единственную дочь к чужим людям!

— Отчего же не оставить ее дома?

— Ах, сударь, мы так бедны… а я не хочу ни о чем просить друзей.

Никола в те времена жил в полном достатке; его первые произведения, особенно «Совращенный поселянин» и «Современницы», приносили гораздо больше денег, чем работа в типографии.

— Заберите дочь домой, — сказал он госпоже Лееман, — мы сделаем для нее все, что сможем.

— Тут как раз в третьем этаже скоро освободится комната, мы вскладчину обставим ее мебелью, вы будете ей за отца, и мы заживем одной семьей, — обрадовалась вдова.

Итак, со следующей недели Сара перестала ходить в лавку барышень Амеи. Вскоре ее связь с Никола стала полной и нерасторжимой. Бесконечные беседы, восхитительные ужины на окраинах или за городом в обществе госпожи Лееман и Флоримона… Во время этих трапез маленькая ножка Сары неизменно покоилась на ноге Никола, а когда они бывали в театре, девушка, не обращая ни малейшего внимания на устремленные на нее со всех сторон восторженные взгляды, вкладывала свою ручку в руку Никола.

Однако госпожа Лееман старалась не отпускать от себя дочь, а если Никола и Сара шли куда-нибудь вдвоем, непременно посылала за ними Флоримона. Этот пресыщенный волокита был не самым приятным спутником, но он ничего не имел против взаимной склонности влюбленных. Флоримон ходил за ними по пятам, словно сторожевой пес, не мешая им ворковать. Однажды Никола вызвался купить госпоже Лееман семена и луковицы цветов. Она, как все уроженки Брабанта, любила тюльпаны.

Никола с Сарой отправились на набережную Цветов и выбирали семена так долго, что Флоримон устал ждать и решил скоротать время в соседнем кабачке, откуда вышел, сильно шатаясь. Пока он пытался взвалить на плечи мешок с семенами, Сара написала матери записку, где объяснила, что Флоримон пьян и им с Никола стыдно брать его с собой на прогулку. Флоримон ушел с этой запиской, не прочитав ее.

— Вот бы нам пойти в театр! — весело сказала Сара.

Никола посмотрел на нее. Ей были очень к лицу английская шляпка и казакин из переливчатой тафты. До спектакля оставалось еще много времени, и они выбрали самый длинный путь. Никола повел девушку вдоль набережных к острову Сен-Луи, где он так любил гулять. Оттуда в те времена открывался очень живописный вид: с одной стороны сельские просторы, с другой — два рукава Сены, величественные громады старого собора и ратуши; справа и слева, довершая картину, тянулись бульвары Май и Рапе с утопающими в зелени ресторанчиками на каждом шагу. Никола хотелось заодно показать Саре священные буквы Ан. Ад., которые он нацарапал на парапете набережной, когда приходил сюда излить жалобы безнадежной любви. Ныне все переменилось. Влюбленные вывели под этими полустершимися буквами свои подлинные инициалы и покинули остров только после того, как солнце скрылось за высокими башнями тюрьмы Шатле. Они пересекли площадь Мобер, миновали улицы Сен-Северен и Сент-Андре-дез-Ар и по улице Комедии вышли к театру, по-прежнему навевавшему на Никола воспоминания о красавице Геан[9]. По дороге он со слезами на глазах поведал Саре историю своей трагической любви, и девушка от всего сердца сочувствовала его горю.

— Умерла! Она умерла! — восклицал Никола. — Умерла, как и та, другая, такая прекрасная и такая добрая (госпожа Парангон)! Увы, все, кого я любил, сошли в могилу!

— А я, разве я не люблю тебя так же, как они? — возражала растроганная Сара.

— Сейчас, быть может, и любишь, но что будет дальше?

— Друг мой, не говори так… До сих пор моя чувствительность приносила мне одни муки, пощади же меня…

— О, прости, дитя мое! Я столько выстрадал, а ты…

— В моей жизни не было ничего, кроме страданий, но боль, причиненная тобой, была бы для меня горше всех моих былых невзгод.

Они вошли в залу. Давали «Воспитанницу» Фагана — ту самую пьесу, где некогда с таким чувством и грацией играла мадемуазель Геан. Никола, как все гордые умы, не верил в

случайности и во всем, что с ним происходит, видел перст судьбы. На сей раз пьеса показалась ему отвратительной, а исполнительница главной роли — дурнушкой. Он не заметил, как в соседнюю ложу вошла дивной красоты женщина с чудесными пепельными волосами (тогда как раз перестали пудрить волосы), прекрасными глазами, черными бровями и изысканными манерами.

— Погляди, какая красавица, — сказала Сара.

— Она хороша, — согласился он, — но ты гораздо красивее!

Дама, видя восхищение Сары, приветливо заговорила с ней. Сара отвечала холодно. Когда Никола с удивлением посмотрел на девушку, она шепнула ему на ухо:

— Я очень ревнива. Если бы я поддержала разговор, ты бы тоже принял в нем участие и наверняка понравился бы ей…

Никола был польщен:

— Зато мне никто не может понравиться, кроме Сары.

Упоительный вечер кончился, и пора было возвращаться домой, где их ждала разъяренная госпожа Лееман. Чтобы задобрить ее, Никола купил у ювелира на улице Бюсси красивые подвески. Мера предосторожности оказалась нелишней: на пороге дома влюбленных встретил несчастный Флоримон, которого вдова выставила за то, что он вернулся один. Протрезвев от обрушившихся на его голову проклятий, он совсем пал духом. Никола храбро встретил бурю — впрочем, как только в руках у него блеснуло золото, она утихла, и в доме вновь воцарился покой.

Однако госпожа Лееман не дозволяла влюбленным развлекаться без нее.

— Если девочке скучно, — как-то сказала она, — я сама поведу ее на прогулку.

И вот погожим весенним вечером госпожа Лееман с Сарой отправилась на Большие бульвары. Никола до семи часов был занят в типографии, а потом собирался присоединиться к ним. Когда он пришел, они сидели в боковой аллее среди других красивых и нарядных дам. Подле них расположился смуглый господин в расшитом камзоле, похожий на креола; он уже успел завязать беседу с госпожой Лееман. Сара сидела очень чинно; увидев Никола, она улыбнулась и пригласила его сесть рядом. Смуглый кавалер не замедлил откланяться и удалился.

Два или три дня спустя важное дело задержало Никола, и он не смог в обычное время присоединиться к дамам. Вечером госпожа Лееман с усмешкой доложила, что давешний кавалер не дал им соскучиться. То же повторилось еще через несколько дней. Дома Сара отвела Никола в сторону:

— Вы бросаете меня на произвол судьбы, а ведь вам известны намерения моей матери… Ах, друг мой!

И вот однажды госпожа Лееман заявила, что наконец-то ее дочь может выйти замуж за человека с положением. Слова эти ножом вонзились Ретифу в сердце, ведь он, как мы уже говорили, был несвободен, хотя давно уже жил с женою врозь. Он отвечал со вздохом, что главное для него — счастье Сары и что он желает ей хорошего мужа. Назавтра Никола нездоровилось, и он не покидал своей комнаты. На полу под дверью он обнаружил записку:

> «Мой милый и добрый друг! Твою девочку заставляют идти гулять без тебя… Придется терпеть, раз нет другого выхода. Лечи свой насморк и поскорее выздоравливай… Если бы ты мог подыскать мне место у какой-нибудь дамы или просто надомную работу, у меня достало бы сил сопротивляться и я была бы счастлива, насколько это возможно в моем положении. Не забывай твою подружку.
>
> *Сара».*

Никола в тот же день нанес визит одной знатной даме, которая жила на острове Сен-Луи и о которой он часто упоминает в «Парижских ночах». Дама эта согласилась взять Сару в компаньонки. На обратном пути он встретил мать и дочь в карете. Госпожа Лееман крикнула ему, что они едут в Пале-Руаяль и ждут его там. Успокоенный относительно чувств Сары ее запиской, он не стал спешить. Когда он появился в Пале-Руаяле, он уже не застал там ни госпожи Лееман, ни Сары.

Никола вернулся домой. Еще издали он увидел, что в окнах темно… На двери висел замок. Он поднялся к себе и заметался по комнате. Время от времени он выбегал на улицу в надежде встретить дам. Никого. Пробило полночь; с последним ударом он разразился слезами. Он вспомнил слова Сары, намеки ее матери. В час ночи, не находя себе места, он вышел на улицу. Случай вновь привел его на пустынные набережные острова Сен-Луи. В лунном свете он принялся искать священные инициалы, нацарапанные его рукой и рукой Сары, и, найдя их, зарыдал от отчаяния. Отворилось окно, кто-то спросил, что с ним.

— Перед вами отец, потерявший свое дитя, — отвечал Никола.

Он шел домой, надеясь еще, что дамы были где-нибудь на балу и наконец вернулись. Дом был пуст. В пять утра Никола в изнеможении заснул; ему снилась Сара, ее густые белокурые волосы разметались по груди, она звала его: «Друг мой! спаси

меня!» Он вскочил… уже рассвело; дома по-прежнему никого не было[10].

Всякий раз, заслышав цокот копыт, Никола вздрагивал, но экипажи проезжали мимо. Только на третий день у дверей остановилась карета. Он бросился вниз. Госпожа Лееман приехала без Сары, в сопровождении незнакомца, вернее, нового знакомого, обходительного креола с Больших бульваров.

— Где ваша дочь? — сердито закричал Никола.

— Она осталась за городом, в доме господина де Ла Монтетта, — госпожа Лееман указала на своего спутника, — который был так любезен, что проводил меня.

— И вы оставляете вашу дочь одну у мужчины?

— А вам какое дело?.. К тому же Сара там вовсе не одна, с ней родные этого господина… А сам он, как видите, здесь, со мной!

Господин де Ла Монтетт поклонился, разглядывая искаженное гневом лицо Никола. Впрочем, вдова Лееман вовсе не хотела обижать писателя.

— Разве моя дочь не предупредила вас, что мы собираемся за город? — спросила она уже мягче.

— Я понятия не имел об этом!

— Вот дуреха!.. — воскликнула госпожа Лееман.

Она употребила даже более крепкое словцо, попросив у господина де Ла Монтетта прощения за свою материнскую строгость.

— Господин Никола стал моей дочери вторым отцом, — объяснила она, — и я понимаю его беспокойство… Но ведь Сара оставила вам записку… — добавила она, обращаясь к Никола.

— Вы правы, сударыня, я совсем запамятовал, — ответил он и удалился.

Никола был в смятении. Если бы речь шла о браке с достойным избранником, он, как человек благородный, не стал бы противиться и, возможно, не был бы так удручен; но записка Сары, где она ни словом не обмолвилась о загородной прогулке, указывала на опасность совсем иного рода. Пока он размышлял в нерешительности, карета вновь умчалась, ибо госпожа Лееман приезжала домой только затем, чтобы взять кое-что из вещей. В юности Никола случалось бежать за каретой, чтобы узнать, куда направляется его возлюбленная, но попробуй проделать такое, когда тебе за сорок! Пришлось ждать всю ночь, а потом еще целый день. И только под вечер раздался наконец условный стук; опрокидывая стулья, он рванулся к двери. На пороге стояла Сара; она произнесла ледяным тоном:

— Ну! Я здесь! В чем дело?

— В чем дело?.. Да разве я сказал вам хоть слово, бедное мое дитя?

— Нет, — отвечала Сара в замешательстве, — но у вас такой грозный вид…

— Я ни в чем вас не упрекаю… Но вы сами понимаете, те три дня, что вас не было…

— Вы пообедаете с нами, не правда ли? — спросила Сара как ни в чем не бывало.

Девушка по-прежнему стояла в дверях. Услышав, что мать зовет ее, она побежала вниз.

Никола понял, что все кончено. «Теперь, — сказал он себе, — мне остается в самом деле стать ей отцом и выяснить, может ли этот человек сделать ее счастливой». Он спустился в гостиную. За столом сидел господин де Ла Монтетт. Ему было лет сорок, страсти, казалось, всегда обходили его стороной… Никола видел, что соперник гораздо богаче его, и уверился, что речь идет о браке по расчету; так он объяснял себе сдержанность девушки и горевал лишь оттого, что ножка Сары уже не покоится на его ноге.

Обед прошел бы вполне благопристойно, если бы под конец, взглянув на господина де Ла Монтетта, госпожа Лееман не воскликнула в приливе откровенности:

— Даже не верится, что мы знакомы с вами всего две недели! В тот день мы собирались в театр, и, если бы господин Никола пришел за нами вовремя, мы не имели бы удовольствия познакомиться с таким любезным кавалером… который стал нам настоящим другом!

Какая пытка! «Я сам во всем виноват!» — сокрушался Никола. А Сара томно склонила голову на плечо креола, не заметив, казалось, пошлости, сказанной матерью. Никола призвал на помощь все свое мужество, чтобы скрыть неудовольствие. После обеда все пошли в Ботанический сад. Как человек светский, гость бережно поддерживал Сару под руку, и приличия требовали, чтобы Никола предложил руку ее матери, — обычно этот тяжкий труд брал на себя Флоримон, но на сей раз вдова услала его куда-то с поручением. Ретиф уже был к тому времени известным писателем, он не хотел, чтобы его видели под руку с госпожой Лееман, и потому просто пошел с ней рядом. Вдова с досадой сказала дочери:

— Зачем молоденькой девушке опора, если даже я прекрасно без нее обхожусь!

Пришлось господину де Ла Монтетту отпустить руку Сары, что, впрочем, не прервало их весьма оживленной и даже нежной беседы. Прощаясь, господин де Ла Монтетт пригласил обеих дам

на следующий день отобедать у него. Будучи человеком учтивым, он пригласил и Никола. Сердце писателя сжалось, теперь превосходство было на стороне соперника, недаром Сара потом говорила: «Господин Никола весь вечер был такой угрюмый!»

Назавтра господин де Ла Монтетт радушно принял всех в своем загородном доме; в беседе он показал себя человеком весьма неглупым; конечно, он не обладал богатым воображением, зато прекрасно знал свет. Его превосходство как человека состоятельного и вдобавок наделенного тонким вкусом было очевидно; у Никола сердце кровью обливалось. К обеду прибыли еще несколько гостей, в основном судейские и банкиры. Сара сидела как на иголках: мать ее то и дело вставляла не слишком уместные замечания, поэтому девушка старалась больше говорить сама; по ее смелым и даже вольным остротам Никола заключил, что она отнюдь не так наивна, как он полагал. Когда все встали из-за стола, Никола отошел к окну и заплакал горючими слезами, повторяя: «Все кончено!» Проходя мимо, Сара тронула его за плечо и весело спросила:

— Что это вы здесь делаете? Разве вы не пойдете в сад?

Он не обернулся, чтобы она не видела его искаженного лица.

— Ну и оставайтесь, — процедила Сара сквозь зубы. — Только тоску нагоняете!

Уязвленная гордость высушила слезы на лице несчастного. «Поделом тебе, — бранил он себя. — Вспомни о тех, кого ты сам совратил и погубил!» Немного успокоившись, он спустился в сад. Сара резвилась, как дитя, срывая розы для присутствующих дам. Господин де Ла Монтетт увлек Никола в одну из аллей и был с ним так любезен, словно и не подозревал об их соперничестве. Они долго говорили о Саре; Никола не мог удержаться от самых восторженных похвал. В этом панегирике слились его литературное дарование и чувства, которые пылали в его сердце. Господин де Ла Монтетт с удивлением спросил:

— Так вы ее любите?

— Обожаю! — отвечал Никола.

— Однако мать ее уверяла меня, что вы испытываете к девушке лишь отеческие чувства… Я полагал, что нежная привязанность к госпоже Лееман, которая одних лет с вами и еще хороша собой…

— К госпоже Лееман! — вскричал Никола, оскорбленный до глубины души. И, глядя на креола, подумал: «Да ведь мы с ним почти ровесники. Неужели он считает, что если я старше его на каких-нибудь пять или шесть лет, то уже не могу понравиться молоденькой девушке?» Он не произнес этого вслух, но в голове его зазвучали ревность и уязвленное самолюбие; говоря о госпоже

Лееман, он дал волю своему негодованию. Он рассказал о страсти молодого Деларбра, о господине де Весгоне и его двадцати тысячах, которые едва не были приняты… Он не умолчал и о собственной роли, о своих жертвах, о клятвах, свиданиях, письмах…

— Теперь, — закончил он, — я вижу, что был игрушкой в их руках, что меня обманывали… как обманут и вас!

— Меня? — переспросил господин де Ла Монтетт. — Ну нет! Я человек опытный и сразу все понял.

— Как! Вы готовы смириться с тем, что мать продает вам свою дочь?

— Что вы, дорогой мой, я не покупаю любовь.

— Значит, вы понимаете, что вам надо отступиться от девушки?

— Отчего же? Если я нравлюсь ей больше других!

Никола был ошеломлен таким ответом, но пока он собирался с силами, чтобы осадить соперника, из-за деревьев выглянуло свежее улыбающееся личико Сары. Беспечная резвушка, не подозревавшая, о чем говорят мужчины, несла охапку роз, которую разделила на два букета: один для господина де Ла Монтетта, другой — для Никола. Уже стемнело, и Сара не заметила, как он удручен. А Никола, увидев возлюбленную, почувствовал, что гнев его проходит. Прощебетав несколько учтивых слов, девушка убежала, чтобы не мешать мужчинам беседовать о серьезных вещах.

— Послушайте, — сказал де Ла Монтетт, — я уже вышел из возраста, когда человек склонен к восторгам, и удивляюсь вам. Похоже, писатели дольше сохраняют свою восторженность… Раз вы так любите эту девушку, я готов отказаться от своих намерений… Однако вы рассказали о ней столько хорошего, что, если она вас не любит, я буду добиваться ее расположения еще упорнее.

Мгновение назад Никола хотел вызвать де Ла Монтетта на дуэль — теперь он чувствовал себя смешным: хладнокровие соперника сломило его. Как всякий обманутый любовник, он больше всего боялся узнать правду и не стал испытывать судьбу: сославшись на неотложные дела, он в тот же вечер уехал в Париж. Все наперебой сожалели о его отъезде и вышли проводить его. Сара с прежней веселостью шла рядом с де Ла Монтеттом; креол сказал ей:

— Дайте же руку господину Никола.

Такое великодушие больнее всего ранило бедного влюбленного. Никола попытался скрыть досаду, но не смог и сказал Саре, что господину де Ла Монтетту теперь известны

намерения госпожи Лееман, а также другие малопривлекательные подробности ее жизни. Сара пришла в ярость.

— По правде говоря, сударь, — заявила она, — я жалею, что узнала вас и была к вам добра. По какому праву вы вмешиваетесь в мои дела? По какому праву выдаете чужие тайны и порочите мою мать?.. И вообще, — продолжала она, возвышая голос, — не знаю, с какой стати мы с вами идем рядом. Быть может, вы хотите, чтобы все думали, будто нас что-то связывает! Только посмейте утверждать, сударь, что наши отношения не были совершенно невинными!

Никола не ответил. Красный от стыда, с болью в сердце, он не нашел в себе сил проявить великодушие и подтвердить ложь девушки. Он неловко откланялся и только по пути домой дал волю горю и гневу. Единственным его утешением была мысль о справедливости постигшей его кары.

ЖЕНИТЬБЫ НИКОЛА

Женитьбы Никола — грустная страница его биографии; это темная оборотная сторона ослепительно сияющей медали, на которой выбито столько прелестных профилей. Брачные узы стали для Никола расплатой за многочисленные победы, но он свято верил, что всякий грех неминуемо влечет за собой искупительную кару, а потому не роптал на судьбу и терпеливо нес свой крест до самой смерти. Мысль о том, что он терпит адские муки здесь, на земле, и после смерти возвратится в лоно мировой души закаленным в горниле испытаний и очистившимся, приносила ему некоторое утешение. Учение это, подробно изложенное в «Морали» Ретифа, имеет тот недостаток, что позволяет человеку, презрев в миг упоения роковые последствия, творить зло. Никола близки были идеи, которые Сирано, ученик Гассенди, вложил в уста Сеяна; этот суеверный эпикуреец говорит:

> Но грома никогда зимою не бывает:
> Еще полгода я над небом посмеюсь,
> А как придет пора, с богами примирюсь[11].

Первый раз Никола женился в Париже при весьма любопытных обстоятельствах. Это было в ту пору, когда он еще не совсем оправился от болезни, вызванной смертью Зефиры. Однажды он сидел на скамье в Ботаническом саду. К нему подсели две англичанки: тетка и племянница. Тетушку звали миссис Макбелл, племянницу — мисс Генриетта Керчер; прелестное личико девушки обрамляли дивные золотистые локоны, ниспадающие из-под модной шляпки с полями. Завязалась беседа. Тетушка рассказала о тяжбе, где на карту поставлено все состояние молодой особы; дамы были уверены, что непременно проиграют процесс — ведь они иностранки. Единственное средство избежать этого несчастья — выйти замуж за француза, причем не позднее завтрашнего дня, ибо дело слушается послезавтра; но как за такое короткое время найти подходящую партию? Никола, человек увлекающийся и решительный, тотчас объяснился юной мисс в любви; Генриетте он тоже пришелся по душе, и на следующий же день в присутствии четырех свидетелей, служащих английского посольства, их обвенчали сначала в церкви того прихода, где жил Никола, а затем в англиканской церкви. Процесс был выигран.

Никола стал жить с молодой женой, с каждым днем влюбляясь в нее все сильнее. Генриетта, казалось, тоже его обожала. Единственным другом дома был лорд Тааф. Он подолгу беседовал с тетушкой и осуждающе поглядывал на воркующих супругов.

И вот как-то утром Никола проснулся и увидел, что жены нет рядом; он позвал ее, потом встал с постели: в доме все было вверх дном, шкафы распахнуты и совершенно пусты — исчезло даже платье Никола. На столе лежала записка:

«Дорогой супруг, меня принуждают покинуть тебя и отдают лорду, которого ты видел… Но не сомневайся, что, если мне удастся ускользнуть, я вернусь в твои объятия.

Твоя любящая супруга Генриетта».

Трудно передать стыд и отчаяние Никола. Вместе с беглянкой исчезла изрядная сумма денег, которую он успел скопить. Утешало его только то, что брак был признан недействительным, ибо, будучи католиком, он не имел права взять в жены протестантку. В отместку первой жене он описал всю эту историю в комедии «Национальный предрассудок».

Женитьба на Аньес Лебег тоже не принесла ему счастья, он опять остался в дураках. На беду Никола, союз этот просуществовал дольше. Не обольщаясь насчет характера и поведения жены, он все же какое-то время жил с ней в более или менее добром согласии, философски прощая ей некоторые слабости и ухаживая за ее подругами и за женами ее кавалеров. Ретиф пишет об этом с цинизмом, обличающим полную моральную распущенность. Один необыкновенный случай, происшедший в первые годы его супружеской жизни, подсказал, быть может, Гёте идею его романа «Избирательное сродство», где две живущие в уединении несчастливые пары, словно в танце, обмениваются партнерами, дабы исправить ошибку, соединившую узами брака людей, не любящих друг друга. Впрочем, даже если Гёте и не читал Ретифа, любопытно, что великому певцу пантеизма пришел в голову тот же беспримерный парадокс, что и писателю, которому недостало лишь гения, дабы завершить систему, ни в чем не уступающую Гегелевой.

В заключение стоит рассказать о последней женитьбе Никола. История эта завершает длинный цикл трех— и пятиактных пьес, который он озаглавил «Драма жизни». Писателю шестьдесят лет. Измученный страшными событиями, происходившими у него на глазах, он погожим осенним днем 1794 года возвращается из Парижа в Куржи — деревушку, где прошло его детство, где брат-кюре учил его латыни, где он был звонарем в церкви и влюбился в Жаннетту Руссо. Церковь пуста и разграблена, но это его не трогает; не разделяя образа мыслей республиканцев, он тем не

менее позаимствовал у них ненависть к христианству — вернее, утвердился в ней. Он бродит по родным местам, с горечью вспоминая ушедшую молодость. Он думает о Жаннетте Руссо, единственной женщине, которой он так и не решился сказать о своей любви. «Быть может, это и было счастье? Жениться на Жаннетте, прожить всю жизнь в Куржи, пахать землю, не искать приключений и не писать романов — так жил мой отец, так мог бы жить и я… Но что сталось с Жаннеттой Руссо? За кого она вышла замуж? Жива ли еще?»

Он расспрашивает местных жителей… Она жива; она так и не вышла замуж. В молодости она работала в поле, потом сделалась гувернанткой и воспитывала девочек в соседних замках, то в одном, то в другом; ей нравилась ее жизнь, поэтому она отказала нескольким женихам… Никола идет к дому нотариуса; его встречает пожилая женщина, это Жаннетта; сквозь сеть морщин проглядывает лицо черноокой Минервы; пусть годы немного согнули ее, но стан пленяет прежней гибкостью, а походка изяществом. Что до Никола, глаза его по-прежнему сияют нежностью на скуластом лице, губы, как в молодости, изящно очерчены и не утратили ни свежести, ни чувственности, — к такому мнению пришел, глядя на его портрет 1788 года, Лафатер; не изменился и нос с фамильной горбинкой Ретифов, за который в Париже его прозвали сычом; над темными дугами бровей возвышается большой костистый лоб, кажущийся еще больше благодаря лысине. Ретиф уже не «очаровательный малыш», как звали его любовницы, но время пощадило его, и выглядит он лет на десять моложе своих лет.

— Узнаете ли вы меня, мадемуазель?.. — спрашивает он. — Теперь, когда мне шестьдесят?

— Сударь, — отвечает Жаннетта, — я догадываюсь, кто вы, но я бы вас не узнала, ведь вы были совсем ребенком, когда мне было девятнадцать лет, а сейчас мне шестьдесят три.

— Да, я Никола Ретиф, тот мальчик, что жил в Куржи у кюре.

И два старых человека обнимаются со слезами на глазах.

Встреча их была исполнена грусти. Воспоминания ожили в душе Никола, и он рассказал о своей слишком робкой любви, о своих детских слезах и о том, что, сколько бы он ни грешил, в душе его всегда жил нетленный образ, девственный и чистый, но — увы! — бессильный спасти его, вечно ускользающий, как Эвридика, которую злой рок вырывает из рук поэта-клятвопреступника… «Судьба была ко мне справедлива, с горечью думал он, за то, что я променял чистую любовь на адюльтер, а первую возлюбленную — на прелестную и добродетельную госпожу Парангон, мне досталась в жены Аньес Лебег, сорок лет

портившая мне кровь». Как аукнется, так и откликнется — софист, проповедовавший этот принцип, сам весьма жестоко от него пострадал. Человеку, который прежде верил только в греческий Рок, пришлось поверить в Провидение!

— Что ж! Лучше поздно, чем никогда, — продолжал Никола, — сейчас я свободен, и вы, насколько мне известно, тоже… Сама природа предназначала нас друг для друга, будьте моей женой.

В одном из замков, где Жаннетта служила гувернанткой, она прочла несколько произведений Ретифа; она знала, что он никогда не забывал ее. Сколько грустных мыслей пробудили в ней восторженные и горестные признания, которыми полна каждая его книга!

— Я думаю, — сказала она, помолчав, — что вы и вправду были моим суженым, потому я и не вышла ни за кого другого. Что ж, раз мы опоздали пожениться, чтобы счастливо жить, поженимся, чтобы вместе умереть[12].

И если верить Ретифу (а он трижды в трех разных произведениях запечатлел свою встречу с первой возлюбленной), он обвенчался с Жаннеттой; время было тревожное, и обряд пришлось совершить в глубокой тайне; трудно сказать, согласился ли писатель на церковный брак в угоду супруге или под конец жизни вернулся в лоно христианства.

Часть III

ПЕРВЫЙ РОМАН РЕТИФА

Прелесть мемуаров, исповедей, автобиографий и даже путевых дневников заключается в том, что жизнь всякого человека отражается в них, словно в зеркале, позволяя ему лучше узнать себя и постичь хотя бы часть своих достоинств и недостатков. Себялюбие здесь вполне простительно, лишь бы автор представал таким, каков он есть, а не рядился в плащ славы или лохмотья порока. Исповедь Блаженного Августина искренна. Она напоминает покаянные речи, которые древние христиане произносили на пороге церкви, чтобы братья во Христе отпустили им грехи, преграждающие путь в святой храм. В устах Лоренса Стерна исповедь превращается в доверительную беседу, благодушную и не лишенную иронии; автор как бы говорит читателю: «Ужели ты достойнее меня?» Руссо смешал эти столь различные качества и переплавил их в горниле страсти и гения; но хотя он и унизился до того, чтобы обнародовать признания, предназначенные только для Божьего слуха, хотя, с другой стороны, он и облил ироническим презрением тех, кто считал себя лучше его, он, по крайней мере, хотел служить истине и верил, что бичует пороки; он не мог предвидеть, что люди будут ссылаться на него в оправдание своих дурных наклонностей, не утруждая себя при этом угрызениями совести, воздержанием, муками, которыми искупал свои прегрешения он. Главное же заключается в том, что, рисуя в своей «Исповеди» нескромные картины, Руссо никогда не имел намерения оскорбить нравы. Он писал в развращенную эпоху, для избранного общества, которому случай с барышнями Галле, эпизод с венецианской куртизанкой и связь с госпожой де Варане казались весьма пресной пищей, почти лишенной пикантности. Лишь изредка он смачивал толикой цинизма края чаши, наполненной, как ему казалось, благороднейшим напитком. А что можно сказать в оправдание Ретифа, его грубого, неотесанного соперника? В своих книгах он обращался не к прекрасным дамам и пресыщенным господам, не к банкирам, судейским и кокеткам, он обращался к буржуа, которые еще не совсем оторвались от народа, но все больше и больше отличались от него воспитанием и нескрываемым презрением к так называемым предрассудкам. Да, Руссо случалось воскликнуть: «Юноша, возьми и читай!», но при этом в начале произведения, которое ныне кажется вполне невинным, он писал: «Если девушка осмелится прочесть хотя бы одну страницу этой книги, значит, она создание погибшее!» Нищета и гордость помешали Ретифу последовать примеру Руссо.

Его книги были обращены ко всем, кто умеет читать. Чтобы привлечь внимание толпы, он не пренебрегал ничем — ни броскими заглавиями, ни рисунками, притягательными в самой своей посредственности. Как бы ни изощрялись современные авторы, им не угнаться за Ретифом, в чьих романах видимо-невидимо гравюр, изображающих насилие, похищения, самоубийства, дуэли, ночные оргии, сцены, где смрадные испарения, поднимающиеся с парижского дна, смешиваются с пьянящим ароматом будуаров. Вот, к примеру, старинный Новый мост ночью; на заднем плане «Самаритянка»; под аркой прячутся воры, они боятся вступить в круг лунного света; на мосту остановился фиакр, женщина, вышедшая из него, бросается в черную воду, а вот двое мужчин: один перегибается через парапет, другой выскакивает из фиакра. Кто не видел эту гравюру? Кто не задавался вопросом: «В чем же тут дело?» Что еще нужно для успеха? Романы Ретифа вошли в моду не только благодаря этим уловкам, которых, впрочем, не чуждались и многие его современники. Он вдохновенно — а порой изящно и остроумно — рисовал нравы буржуазии и народа. Свои скудные познания о свете он почерпнул из бесед с Бомарше, Ла Реньером и графиней де Богарне, а также из разговоров, которые ему случалось слышать в некоторых салонах, где бывало смешанное общество и куда его приглашали из любопытства; но в первую очередь его романы, повести и длинные циклы рассказов, известные под названием «Современницы», «Парижанки», «Провинциалки», — в провинции и за границей ими зачитывались и через много лет после того, как о них забыли в Париже, — рисуют нравы буржуазии и народа.

До сих пор мы говорили преимущественно о Ретифе-человеке, обходя молчанием Ретифа-писателя. Теперь нам предстоит показать эту странную личность с другой стороны, рассказать о ее творческой жизни, неожиданные повороты которой отражают цинизм XVIII столетия и предвещают эксцентричность XIX. Впрочем, то, что мы знаем о Ретифе-человеке, поможет нам лучше оценить его как рассказчика. Читатели без труда убедятся, что все романы Ретифа не что иное, как различные эпизоды его жизни, где он изменял лишь имена да кое-какие детали. Он утверждает, что все его героини были его любовницами; их так много, что он даже составил занимающий целый том календарь, куда включил триста шестьдесят пять заметок о главных дамах сердца. Какой же притягательной силой должен был обладать этот человек, считавший себя самой наэлектризованной натурой своего века! Похоже, что в последние годы жизни его одолело тщеславие и он чересчур увлекся

исчислениями: с маниакальным упорством подсчитывая свои победы, он готов был чуть ли не в каждом встречном видеть своего отпрыска. Законные дети — две дочери — у него были только от Аньес Лебег, и он всю жизнь боролся за них: вначале с ней, а позже с мужем одной из дочерей, Оже, который, судя по всему, причинил писателю на старости лет самые большие огорчения.

«Мемуары господина Никола», «Драма жизни» и «Парижские ночи» дают полное представление о творческом пути Ретифа. Он сам говорит о том, что побудило его написать первый роман.

Брак Ретифа с Аньес Лебег, как мы знаем, не был счастливым. И все же после нескольких взаимных измен они решили по мере сил продолжать совместную жизнь. Ретиф поступил в Королевскую типографию, но кокетке, привыкшей сорить деньгами, не хватало жалованья простого рабочего. Ретиф пал духом и трудился спустя рукава, предпочитая читать украдкой модные романы, за что директор Аниссон Дюперрон иногда урезал его дневной заработок на двадцать пять су. Ретиф так обнищал и опустился, что, как он сам говорит, только боязнь опорочить доброе имя отца удержала его от какой-нибудь низости или подлости. В эти годы внутренней борьбы он снова и снова возвращался мыслями к добродетелям Эдма Ретифа, которого в родных местах прозвали «правильным человеком», и задумал книгу под названием «Жизнь отца моего» — она вышла несколькими годами позже и является, пожалуй, единственным сочинением Ретифа, не имеющим недостатков. Чтобы написать крупное произведение, требовалось больше упорства и больше досуга, чем было в то время у Ретифа. 1764 год оказался сравнительно удачным; хлопотами одного из друзей его взяли мастером в типографию Гийо на улице Фуар. Ретиф получал 18 ливров в неделю и по одному экземпляру каждой отпечатанной книги, что составляло еще 300 ливров. Так прошло целых три года. Хорошее место вновь пробудило в Ретифе любовь к труду, а в свободное время он написал свою первую книгу, которую озаглавил «Добродетельное семейство». С прямотой, свойственной отнюдь не всем писателям, он признается, что никогда не мог ничего выдумать и что романы его всегда были, как он выражается, пересказом событий, которые случились с ним лично или о которых он слышал; он называл эти события основой своего повествования. Когда ему требовался сюжет или не хватало деталей для того или иного эпизода, он пускался в какое-нибудь романическое приключение, перипетии которого использовал в очередном произведении. Это крайняя степень реализма в литературе.

«Добродетельное семейство» появилось на свет при следующих обстоятельствах. Однажды в воскресенье на улице Контрэскарп Ретиф встречает даму с двумя дочерьми; они направляются в Пале-Руаяль. Красота одной из девушек пленяет его, он идет следом за дамами, всячески стараясь привлечь к себе их внимание, а на бульваре садится рядом с ними на скамью. На обратном пути Ретиф неотступно следует за ними; он выясняет, что дамы живут на улице Траверсьер и что глава семьи — торговец шелковыми тканями.

С этого дня Ретиф каждый вечер торопится к их лавке, чтобы увидеть через стеклянную витрину красавицу Розу Буржуа, как некогда спешил к магазину, где работала Зефира. Воспоминание о бедной девушке наводит его на мысль написать Розе письмо. Каждый вечер он просовывает в щель очередное любовное послание, после чего с безразличным видом удаляется; меж тем письма попадают в руки родителей, которые читают их вслух и поначалу принимают за розыгрыш, тем более что не знают, какой из дочерей они адресованы. Так проходит около двух недель; настойчивость анонимного воздыхателя начинает внушать опасения, однако поймать его никак не удается. Но вот однажды вечером соседи наконец ловят его с поличным и собираются вести в полицию. Улица полна народа. Чтобы избежать скандала, почтенный отец проводит Ретифа в комнату за лавкой.

— Пощадите его! — дружно просят сестры.

Отец запирает дверь.

— Это ваши письма? — спрашивает он. — Кому из девушек они предназначены?

— Старшей.

— Так бы и писали… А теперь отвечайте, по какому праву пытаетесь вы смутить сердце девушки, вернее сказать, двух девушек?

— Неведомое, но властное чувство…

Ретиф с жаром обороняется, отец сменяет гнев на милость и наконец говорит:

— В письмах ваших видна душа… Завоюйте себе имя, найдите применение вашим талантам — тогда посмотрим…

Ретиф не посмел признаться, что женат, а эффектную сцену вставил в роман, где добросовестно воспроизвел свои послания, описал невинное соперничество сестер, свою поимку, объяснение с отцом, которого он сделал англичанином — дань Ричардсону, бывшему тогда в большой моде; к этому он присовокупил несколько случаев из собственной жизни и в довершение всего ввел в роман иезуита, который выдает дочь замуж в Калифорнию — край, где, по словам автора, «жители так же глупы, как в

Парагвае». Закончив рукопись, Ретиф пожелал услышать мнение знатока. Он выбрал некоего Прогре, романиста и критика, чьим самым значительным произведением была «Поэтика оперы-буфф». Прогре посоветовал ему сократить книгу вдвое. Теперь нужно было найти благожелательного цензора. Ретиф добился, чтобы роман прочел господин Альбаре, и тот дал лестный отзыв. «Отзыв этот, — пишет Ретиф, — ободрил меня». Он поспешил послать роман господину Буржуа, торговцу шелковыми тканями, прося разрешения посвятить его мадемуазель Розе; торговец отклонил эту честь вежливым письмом. «Как смел я надеяться, — восклицает автор „Мемуаров господина Никола“, — что получу дозволение посвятить роман юной красавице, принадлежащей к классу граждан, которому подобает пребывать в почетной безвестности!..» Ретиф продал роман вдове Дюшен и получил более семисот франков (по 15 франков за лист). Он никогда еще не держал в руках такой крупной суммы и потому весьма опрометчиво оставил свое место в типографии: отныне жизнь его переменилась.

Розу Буржуа он больше не видел, однако истории этой не хватало бы соли, если бы не вмешался случай и не добавил к тому, что создал Ретиф, последний романический штрих: сестры Буржуа оказались внучками некой Розы Помблен, в которую был влюблен отец Ретифа. Теперь предположите, что Эдм Ретиф не был так добродетелен, как на самом деле, и однажды согрешил — и перед вами развернется семейная драма, чреватая трагической развязкой… Пожалуй, даже сегодня никто не станет требовать от автора более причудливого сплетения событий.

ФИЛОСОФСКИЕ РОМАНЫ РЕТИФА

Полностью посвятить себя литературе Ретиф решил только в 1766 году Мы видели, что юность его прошла в любовных похождениях и тяжелой работе в типографии. Переходя в «Мемуарах» к новому периоду своей жизни, он восклицает: «Здесь кончается постыдная эпоха моего существования, эпоха моей безвестности, нищеты и унижений». Неудачу «Добродетельного семейства» он приписывает смелой орфографии, полностью соответствующей произношению и подчиняющейся правилам, которые он с тех пор успел не раз изменить.

Роман «Люсиль, или Успехи добродетели», вышедший вскоре после «Добродетельного семейства», рассказывает о проделках мадемуазель Кадетты Фортер, дочери виноторговца и одной из самых очаровательных жительниц Осера. Он подписал книгу псевдонимом «Мушкетер» и хотел посвятить ее мадемуазель Гюс из Французской комедии, но актриса вежливо отказалась, чтобы легкомысленная книга не повредила ее репутации. Ретиф, вероятно, надеялся на приглашение к откупщику Буре, чей дом, остроумно описанный Дидро в «Племяннике Рамо», благодаря тонкому вкусу и доброму сердцу мадемуазель Гюс был открыт для литераторов. Но, увы, надежды его не оправдались.

Роман «Ножка Фаншетты» предваряет занятное вступление: «Если бы единственной моей целью было нравиться, ткань этого произведения была бы иной. Фаншетта, ее горничная, дядюшка со своим сыном да еще какой-нибудь лицемер — и роман готов. Первым возлюбленным Фаншетты стал бы ее кузен, ход событий был бы естественнее, а развязка неожиданнее; но я стремился говорить правду». Роман этот — история красавицы и влюбленного в нее старика, которого самая обольстительная ножка на свете толкает на самые непристойные безумства. Текст романа и примечания к нему изобличают маниакальное пристрастие Ретифа к женским ножкам и туфелькам. Стоило Ретифу завидеть на прогулке стройную ножку, как он спешил за своим рисовальщиком Бине, чтобы тот сделал набросок. По его мнению, «женщины, которые носят туфли на низком каблуке, отвратительно *коровничают* и *медведствуют;* туфли же на высоком каблуке, напротив, утончают ножку и *сильфидируют* весь стан». Необычные, хотя и выразительные слова, уснащающие эту фразу, дают представление о причудливом языке Ретифа, который, вкупе со смелыми новшествами в орфографии, затрудняет чтение его первых произведений. Однако «Ножка Фаншетты» положила начало его известности. Роман этот не

лишен своеобразия и даже вкуса, он имел успех, но именно по этой причине принес Ретифу очень мало денег — слишком много раз был он перепечатан другими издателями без его ведома и согласия.

За «Ножкой Фаншетты» последовал «Порнограф» — в него входят роман в письмах, призывающий к отмене некоторых полицейских предписаний, и проект нового законодательства с приложениями и пояснениями. Автор признает необходимость существования в больших городах особого разряда женщин, призванных охранять нравственность остальных представительниц слабого пола. В Индии эта роль отводилась женщинам низших каст, в Греции — рабыням. В новое время разряд падших женщин пополняют жертвы собственной пылкости или ужасных условий воспитания. Теория эта в чем-то предвосхищает учение Фурье; по мнению Ретифа, есть натуры, подобные мотылькам, перелетающим с цветка на цветок. Однако случается, что годы, нравоучительные проповеди или внезапно проснувшееся чувство облагораживают ум и душу и очищают эти опустившиеся создания. Желание женщины вернуться на путь истинный и вновь войти в порядочное общество должно всюду встречать поддержку и одобрение. С этой целью Ретиф задумал учредить специальные заведения, которые в подражание грекам назвал «партенионами». Ретиф считал, что даже самые порочные натуры окончательно опускаются только оттого, что прошлое их — незаконное рождение, одна-единственная ошибка, роковое стечение обстоятельств — навлекает на них всеобщее презрение. Главное достоинство своих предложений Ретиф видел в том, что они позволят уберечь молодых людей от подстерегающих на каждом шагу искушений, избавить семьи от лицезрения бесстыдного порока, кичащегося своим призрачным великолепием, наконец, помешать человеку, оступившемуся единожды, погрязнуть в скверне.

«Порнограф» наделал шума в Европе, а император Иосиф II, известный философическим складом ума, так увлекся идеями Ретифа, что осуществил в своих владениях проект, содержащийся во второй части книги[13].

За «Порнографом» последовало еще несколько сочинений в том же духе — автор объединил их в цикл, получивший название «Оригинальные идеи». Второй том называется «Мимограф, или Театральная реформа». Ретиф призывает к абсолютной правде в театре и требует отказаться и в трагедии, и в комедии от академической системы условностей, стеснявшей даже таких гениев, как Корнель и Мольер. Автор «Мимографа» высказывает мысли, достойные Дидро и Бомарше, — впрочем, оба эти

драматурга были удачливее либо ловчее Ретифа и сумели перенести свои теории на сцену, меж тем как его пьесы никто не ставил. Чтобы показать всю чрезмерность реализма в его понимании, достаточно сказать, что ради единства, нравоучительности и наслаждения он предлагал занимать в любовных сценах женихов и невест накануне свадьбы.

До выхода «Совращенного поселянина» Ретиф жил почти единственно на свое жалованье; труд наборщика обеспечивал ему средства к существованию, как переписка нот — Жан-Жаку Руссо. Книгопродавцы редко платили по векселям, перепечатки без ведома и согласия автора сильно снижали барыши, а цензоры то накладывали арест на готовые книги, то заставляли заменять в них сомнительные страницы, на что уходила уйма денег. «18 августа 1790 года, — пишет Ретиф, — я был еще беднее, чем когда работал в типографии. Я быстро проел то, что принесло мне „Добродетельное семейство“, „Школу юных“ отвергли издатели, „Порнограф“ не понравился цензору… Однако я не унывал. За пять дней я написал „Люсиль“. Издатель заплатил мне всего три луидора, затем отпечатал полторы тысячи экземпляров вместо тысячи, а корректурные листы продал другим издателям, которые выпустили книгу, не заплатив мне ни гроша. Издатель этот, бывший также тайным осведомителем, разбогател, но смерть помешала ему насладиться богатством». Из приведенного отрывка видно, какие порядки царили тогда во Франции в книжном деле. «Порнограф» и «Мимограф» почти ничего не принесли Ретифу, поскольку он издавал их на паях с одним рабочим, ссудившим его деньгами и получившим большую часть прибыли. Не лучше обстояло дело и с «Побочной дочерью», и с «Письмами дочери к отцу», вышедшими у Леже. Издатель романа «Продувная бестия», написанного в подражание Кеведо, расплатился с Ретифом необеспеченными векселями. В этом романе писатель колеблется между несколькими модными иностранными течениями; собственный стиль он обрел лишь в «Совращенном поселянине».

Получив отцовское наследство, Ретиф смог издать «Поселянина», рукопись которого отверг издатель Делален, своими силами. Первое издание разошлось в полтора месяца, второе — в три недели. Третье продавалось медленнее из-за незаконных перепечаток, но за границей роман имел такой успех, что в одной лишь Англии вышло сорок два издания. Описание французских нравов всегда больше привлекало иностранцев, чем самих французов. Поначалу «Совращенного поселянина» приписали Дидро, что вызвало множество протестов. Затем роман обвинили в безнравственности и запретили продавать, однако

Ретифу удалось задобрить цензора Демароля, и тот снял запрет с условием, что автор сделает замены в готовом тираже. Через три года после «Поселянина» появилась «Совращенная поселянка», а вскоре оба романа вышли под одной обложкой. В «Совращенных поселянине и поселянке» романические перипетии сплавлены с реформаторскими идеями, являющимися частью морально-философской системы, которую Ретиф изложил в более поздних книгах. Начало этой системе положили беседы с монахом-францисканцем Годэ д'Аррасом. Ученость Годэ дополняла безудержную фантазию молодого человека; таким образом, система Ретифа представляла собой, подобно древней химере, причудливое слияние двух разнородных натур.

Если мы вспомним все известное нам о Ретифе-человеке, то увидим что его философские построения, расцвеченные прихотливым воображением, весьма схоластичны. В поведении этого сторонника реформ, в отличие от его системы, логика отсутствует начисто, и он то и дело восклицает: «Ах, как я ошибся! Ах, как я был слаб! Ах, как я был труслив!» Напротив, для Годэ д'Арраса, ставшего одним из главных героев «Совращенного поселянина», не существует ни добродетели, ни порока, ни трусости, ни слабости. Все, что человек делает, хорошо, если приносит ему выгоду или удовольствие, не навлекая на него при этом ни судебного преследования, ни людской мести. Во всех же дурных последствиях его поступков виновато общество, которое их не предусмотрело. Годэ д'Аррас не жесток, он даже ласков с теми, кого любит, ибо нуждается в компании; он сочувствует страданиям ближних, — чужие муки вызывают у него что-то вроде нервных припадков, но, будь он черствым, самовлюбленным, бесчувственным, он ничуть не упал бы в собственных глазах, так как счел бы эти особенности своего характера чистой случайностью или загадкой природы, пути которой неисповедимы: она создала грифа и голубку, волка и овцу, муху и паука. На свете нет ни добра, ни зла; все имеет свое назначение. Гриф очищает землю от падали, волк истребляет заполоняющих поля грызунов, паук уничтожает вредных насекомых, и так во всем: смрадный навоз служит удобрением, яды — лекарством… Человек — хозяин на земле и потому должен подчинять отношения людей и порядок вещей своей пользе и пользе рода человеческого. От этого, а не от религий и форм правления зависит судьба будущих поколений. Хорошо организованному обществу добродетель не нужна; благотворительностью и сочувствием займутся чиновники; мудрая философия поможет людям изжить не только физические, но и моральные муки — плод религиозного воспитания и чтения

романов.

Сегодня эта доктрина середины XVIII столетия, которая восходит непосредственно к знаменитым эпикурейцам века Людовика XIV и нашла свое полное выражение в «Системе природы», уже не поражает новизной. Мы упомянули о ней лишь затем, чтобы показать истоки философии автора «Порнографа». Надо сказать, что он соглашался с идеями Годэ д'Арраса скрепя сердце. Абсолютный материализм претил ему, и он радовался, встретив в другом своем товарище, Луазо, чисто духовные интересы, полностью противоположные эпикурейству францисканца. Впрочем, Ретиф мечтал найти нечто среднее между Годэ и Луазо. Луазо при всей своей рассудочности верил в Бога, вознаграждающего добродетель, и даже в ангелов, или духов, «божьих пособников», чье существование знаменитый Дюпон де Немур обосновал позже вне какой бы то ни было религиозной традиции. Под влиянием Луазо исходный сухой натурализм получил в сознании Ретифа мистическую окраску, что сблизило его с такими мыслителями, как Пернетти, д'Аржан, Делиль де Саль, д'Эспремениль и Сен-Мартен. Какими бы странными ни казались сегодня его философские метания, они в точности повторяют путь римской философии, где на смену школе эпикурейцев и стоиков века Августа пришел александрийский неоплатонизм.

Философские идеи «Господина Никола» большой ценности не имеют, но обойти их молчанием невозможно, Ретиф из тех авторов, у кого всякая строка стихов и прозы, романа и драмы так или иначе связана с общей философской системой. Попытки анализировать характеры и критиковать нравы были уже в трех или четырех забытых романах, предшествовавших «Порнографу»; успех этой книги разжег реформаторский пыл писателя; он написал «Мимограф», за ним «Андрограф», призванный упорядочить жизнь мужчин, и «Гинограф», трактующий о положении женщин; потом «Тесмограф», предлагающий усовершенствования в области законодательства, и «Глоссограф», посвященный орфографии. «Андрограф» и «Гинограф» близки идеям Руссо. По примеру женевского философа Ретиф утверждает, что единственное средство против распущенности нравов — жизнь на лоне природы и землепашество, но он не считает источником всех бед театр и живопись. Какова же, однако, цена философии, если для того, чтобы оздоровить нравы общества, ей нужно разрушить города? Ужели необходимо уничтожить жемчужины ремесел, искусств и наук и свести жизнь человеческую к производству и потреблению плодов земли? Не лучше ли создать такую мораль, которая годилась бы для всех

сословий и общественных положений?

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕТИФА

Романы с претензией на философичность соседствуют в творчестве Ретифа с другими, о которых мы уже говорили и которые представляют собой как бы главы одной исповеди: их можно назвать автобиографическими. К ним принадлежат «Мемуары господина Никола», где автор откровенно и без утайки повествует о своей необычной жизни, а также некоторые рассказы и очерки нравов из большого цикла под названием «Современницы».

«Мемуары господина Никола», то есть самого автора, имеют тот же сюжет, что и «Совращенный поселянин». Все, что можно сказать о романе, относится и к «Мемуарам». В «Поселянине» Ретиф изобразил себя под именем Эдмона; в первой части он рисует свою жизнь в Осере: писатель не утруждает свою фантазию; мастерство его проявляется прежде всего в выборе деталей и создании портретов. Особенно ярок образ Годэ д'Арраса, которого можно считать родоначальником всех мрачных, роковых героев, которые подчиняют себе действие и держат в руках все нити повествования. Впоследствии эти сатанинские герои-насмешники буквально наводнили литературу, но Ретиф, в отличие от своих продолжателей, описал действительно существовавшего человека, с которым — на горе себе — был близко знаком. Романы Ретифа основаны на подлинных событиях, они напоминают скульптурные группы, где каждая фигура создана не с помощью опыта и воображения, а вылеплена с натуры. Верный этому принципу, писатель сначала вводит в повествование госпожу Парангон, а затем противопоставляет ей Зефиру. Мы не станем повторять их историю, отметим только, что в романе герой встречает госпожу Парангон и Годэ д'Арраса — своих доброго и злого гениев — в Париже. Это лучшая и самая сильная часть романа — без нее он остался бы просто книгой воспоминаний. Годэ д'Аррас становится роковым Ментором Эдмона; он приобщает юношу к порочной, беспутной, преступной парижской жизни, причем не из корысти или тайной злобы, но единственно из симпатии: желая оказать ему нечто вроде дружеской услуги. Он разглагольствует о том, что счастье есть всеведение, умение извлечь пользу из чего угодно и хладнокровно идти к цели, несмотря на все препоны, это, наконец, способность исподволь иссушать свое сердце, дабы прийти к созерцательному бесчувствию мудреца, каковое венчает

жизнь и приуготовляет человека к грядущей смерти, его истинной радости и единственной награде. Следуя этой системе, Эдмон прожигает жизнь, бесчестит свою благодетельницу, предается всевозможным порокам и в конце концов женится на шестидесятилетней старухе, чтобы завладеть ее состоянием; через три месяца старуха умирает от яда, который подсыпал ей Годэ д'Аррас. За этот сверхфилософский поступок его ждет плаха, но он предпочитает самоубийство, Эдмона приговаривают к каторжным работам. Долгие годы он страдает телесно и мучится угрызениями совести; наконец ему удается бежать и он возвращается на родину; он так переменился, так исхудал, что никто не узнает его. Родители Эдмона умерли от горя; разыскивая на кладбище их могилы, он встречает своего брата Пьеро, который не уезжал из деревни и прожил жизнь тихо и с пользой, возделывая свое поле. Какая трогательная сцена и какой удивительный контраст двух судеб! Автор рискует впасть в банальность, вновь сталкивая Эдмона с его благодетельницей, госпожой Парангон, которая прощает его, утешает и даже соглашается стать его женой, однако в день свадьбы герой гибнет под колесами кареты.

Мы видим, что, создавая образ Эдмона, писатель не пощадил себя. Конечно, для вящей выразительности он немного сгустил краски: самого себя он не считал достойным кары, которую уготовил «совращенному поселянину». Однако, по существу, в характерах Эдмона и «господина Никола» много общего: их роднит сочетание самонадеянности со слабостью, существенно умеряющей философические претензии ученика Годэ д'Арраса. Эдмон решительно не способен противостоять ни горю, ни злу; вынужденный то и дело признавать свою беспомощность, он взывает только к жалости или к тому чувству, которое заставляет его без конца твердить: «*Я* хотел изобразить естественный ход событий и оставить потомкам образец нравственного анализа»: он гордится, что имел смелость «все называть своими именами, разоблачать других, приносить их в жертву так же, как себя, вместе с собой, ради пользы общества». Жан-Жак Руссо, по его мнению, говорил правду, но был уж слишком писателем. Ретиф хвалит его прежде всего за то, что он спас от забвения госпожу де Варане и подарил ей вечную жизнь; он обращает внимание на ее сходство с госпожой Парангон и радуется, что прославил свою возлюбленную под вымышленным именем, описав свои с ней отношения в «Совращенном поселянине», который вышел в свет в 1775 году, раньше «Исповеди» Руссо. «Не возмущайтесь мною, — добавляет он, — я человек, и я слаб, но в том и состоит моя заслуга — ведь обладай я одними добродетелями, недорого

стоили бы мои старания описать вам себя. У меня хватило мужества оголиться перед вами, открыть вам все свои слабости, все изъяны и пороки, чтобы вам было с кем себя сравнить… Есть люди, — продолжает он, — ищущие поучений в баснях; что ж, значит, я великий баснописец, который наставляет на ум других ценой своего позора; я многоликое животное, я то хитер, как лиса, то бестолков, медлителен и упрям, как осел, то горд и храбр, как лев, то быстр и алчен, как волк…» Затем он — с большей или меньшей скромностью — уподобляет себя орлу, козлу и зайцу; но что это за странная философия, которая, прикрываясь всевластием природы, низводит человека до уровня животного, вернее, поднимает его до звания многоликого животного?

Мы подходим к «Современницам», одному из самых известных произведений Ретифа. Этот знаменитый цикл 1781–1785 годов состоит из сорока двух томов. «Современницы», иллюстрированные пятьюстами гравюрами, по большей части весьма удачными, заслуживают внимания как занятное, хотя и грешащее преувеличениями описание костюмов и нравов конца XVIII столетия. Цикл имел большой успех, особенно в провинции и за границей. Именно эта гигантская компиляция, за которую Ретифу платили по сорок восемь ливров за лист, позволила ему заказать сто двадцать гравюр для издания «Совращенного поселянина» и «Совращенной поселянки» в одном томе. Подобно Дора, Ретиф разорялся на иллюстрациях к собственным произведениям. Успех «Современниц» побудил Ретифа написать продолжение: он выпустил циклы «Француженки», «Парижанки», «Провинциалки»; последний, весьма скабрезный цикл носил название «Пале-Руаяль».

В эту пору Ретиф уже расстался с Аньес Лебег. Удалившись в деревню, супруга писателя посвятила себя воспитанию нескольких молодых особ. Одиночество Ретифа скрашивала Виргиния, дочь булочника, которая стоила писателю немалых денег, но приносила мало радости, ибо проматывала его доходы со студентами. Это не мешало ей считать Ретифа скрягой и в конце концов бросить его ради банковского служащего. Единственной местью Ретифа был «Сорокалетний» — он решил описать свое невеселое приключение и тем хоть частично возместить убытки, понесенные по милости Виргинии. В сорок лет Ретиф уже не покорял с прежней легкостью женские сердца — подтверждение этому он получил пять лет спустя, когда, на свое несчастье, познакомился с Сарой. С горя он начал писать книгу «Сыч, или Ночной наблюдатель» — черные глаза и орлиный нос, некогда красивый, но постепенно ставший крючковатым, делали

его похожим на эту птицу. «Сыч» — предтеча «Парижских ночей».

Когда Ретиф писал «Нового Абеляра», он был влюблен в хорошенькую колбасницу по имени мадемуазель Лондо, — ведь он мог рисовать только с натуры. В книге этой содержатся начатки его «Физики». Колбасница была невежественна, но любознательна и интересовалась астрономией не меньше, чем прекрасная маркиза, с которой вел ученые беседы Фонтенель. Отсюда целая космогония… для хорошеньких колбасниц. Размышления о межпланетных пространствах привели Ретифа к созданию «Летающего человека» — остроумного похвального слова воздухоплаванию. Машина, которая переносит Викторена по воздуху, описана здесь во всех подробностях. Вероятно, Ретифа вдохновлял пример Сирано, который сумел предсказать изобретение Монгольфье.

Наконец вышло сочинение под названием «Жизнь отца моего»; оно не принесло Ретифу столько денег, сколько «Совращенный поселянин», зато снискало ему большую славу у серьезной публики. «Жизнь отца моего» — прелестный в своей простоте рассказ о мирной жизни и скромных добродетелях «правильного человека», которому, как писатель сам признает, ему следовало бы подражать. Эту книгу, где Ретиф вспоминает о былых добродетелях и об утраченной чистоте нравов, словно падший ангел о рае, украшают два портрета — отца автора, Эдма Ретифа, и его матери, Барб Бертро.

За семейной идиллией последовало «Отцовское проклятие» — книга горькая и скорбная, полная ярости и отчаяния. В ее основу легло печальное воспоминание о семейной драме, а также о любви к Зефире, ставшей началом нравственного падения писателя. «Южное открытие» — философское произведение, где много места отведено утопии, — и «Андрограф» относятся к последнему этапу творческого пути Ретифа, когда он за шесть лет написал восемьдесят пять томов. В эту пору писателя постигло большое горе — он потерял друга; друг этот был цензором и содействовал выходу в свет его произведений, кроме того, он часто ссужал Ретифа деньгами. Человек этот (звали его Мэробер) тяготился жизнью. Он был так великодушен, что, решив покончить с собой, заранее подписал цензурные разрешения на несколько новых произведений Ретифа. Забирая разрешения, писатель посвятил Мэробера в свои семейные и денежные неурядицы. Он завидовал судьбе этого человека — молодого, богатого, влиятельного. «Сколько людей, — отвечал ему Мэробер, — слывут счастливцами, меж тем как они глубоко несчастны!» День спустя Ретиф узнал, что его покровитель перерезал себе вены в ванне, а затем прикончил себя выстрелом

из пистолета. «Я остался совсем один! — восклицает Ретиф в „Драме жизни“, поведав об этой скорбной кончине. — О боже! злой рок преследует меня! Этот человек мог подарить мне жизнь… Теперь меня ждет небытие!»

Однако другой богатый друг, Бюльтель-Дюмон, заменил Ретифу Мэробера. Он ввел писателя в «смешанное» общество — тут были и финансисты, и судейские, и литераторы, и кое-кто из знати. В этом обществе, жадном до книг, философии, парадоксов, острот и пикантных историй, блистали актеры, художники и сочинители, здесь бывали Роббе, Ривароль, Гольдони, Караччоли, герцог де Жевр, Преваль, Пеллетье де Мортефонтен. Салоны Дюмона, Превaля и Пеллетье по очереди открывали свои двери этому кружку. Самое глубокое впечатление на Ретифа, все еще чувствовавшего себя в свете новичком, произвела госпожа Монталамбер, отнесшаяся к нему с сочувствием. «Будь я на тридцать лет моложе!» — восклицал он; в «Парижских ночах» он вывел эту очаровательную женщину под именем маркизы, сделав ее добрым гением всех страдальцев, которых он встречал во время ночных прогулок.

Примерно в эту же пору Ретиф познакомился с Бомарше, который, ценя автора «Совращенного поселянина» за двойной талант писателя и наборщика, хотел поставить его во главе своей кельской типографии, где печаталось в ту пору полное собрание сочинений Вольтера. Ретиф отказался, но позже сожалел о своем отказе.

Известность Ретифа росла, и ему открыл свои двери еще один дом — дом Гримо де Ла Реньера-младшего, юноши остроумного и пылкого, но не совсем уравновешенного. У него собирался в те времена весь цвет литературы: Шенье, Трюдены, Мерсье, Фонтан, граф де Нарбонн, шевалье де Кастеллан, позже Ларив, Сен-При и другие. Странности хозяина неизменно проявлялись в распорядке празднеств. Два грандиозных философских пира в духе античности, устроенные Ла Реньером, прогремели на весь Париж. Современность была здесь представлена невероятным количеством кофе. К столу допускали только тех, кто давал слово выпить за обедом двадцать две чашечки. Вторая половина дня посвящалась опытам с электричеством. После этого гости шли в залу, освещенную тремястами шестьюдесятью шестью бумажными фонариками, садились за большой круглый стол, и начинался ужин. Его открывал герольд в костюме Баярда, с копьем в руках. Хозяин дома в черном фраке возглавлял шествие поваров и пажей, несших на серебряных блюдах четырнадцать перемен кушаний; красавицы служанки в римских туниках подставляли гостям свои распущенные волосы, чтобы те могли вытирать руки.

РЕТИФ-КОММУНИСТ. ЕГО ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Того, что мы знаем о необычной жизни Ретифа де Ла Бретонна, вполне достаточно, чтобы без колебаний отнести его к числу тех писателей, которых англичане именуют чудаками. Многие особенности его внешности и нрава уже промелькнули в нашем рассказе, но кое-что стоит добавить. Ретиф был небольшого роста, коренаст и склонен к полноте. В последние годы жизни он сильно опустился и слыл нелюдимом. Как-то раз шевалье де Кюбьер, выйдя из Французской комедии, зашел в лавку вдовы Дюшен за какой-то модной пьесой. Посреди лавки стоял человек в большой шляпе с обвисшими полями, прикрывавшими половину лица. Одет он был в темное драповое пальто, доходившее до середины икр и перетянутое поясом, — вероятно, чтобы скрыть полноту. Шевалье с любопытством разглядывал его. Незнакомец вынул из кармана маленькую свечку, зажег ее, вставил в фонарь и вышел, ни на кого не глядя и ни с кем не попрощавшись. «Кто этот оригинал?» — спросил Кюбьер. — «Как! Вы не знаете? Это Ретиф де Ла Бретонн». Шевалье изумился, услышав известное имя, и на следующий день пришел снова в надежде завязать знакомство с писателем, чьи книги читал с большим удовольствием. Ретиф ничего не ответил на комплименты, которые расточал ему изысканный сочинитель, высоко чтимый в салонах того времени. Кюбьер не обиделся, напротив, его лишь позабавила такая неучтивость. Позже, встретив Ретифа у общих знакомых, он увидел перед собой совсем другого человека, остроумного и сердечного. Кюбьер напомнил Ретифу их первую встречу. «Чего вы хотите? — сказал Ретиф. — Я человек настроения, в ту пору я писал „Сыча“ и дал зарок ни с кем не разговаривать».

Конечно, во всем этом было немало позерства и желания подражать Руссо. Угрюмость Ретифа возбуждала любопытство в свете, и знатные дамы наперебой старались приручить медведя. Тогда он опять становился любезным, но его вольные манеры и вновь проснувшаяся дерзость — память о тех временах, когда он играл роль Фоблаза из народа, — нередко пугали неосторожных представительниц слабого пола, чей слух внезапно оскорбляла какая-нибудь циничная шутка.

Однажды Ретиф получил приглашение на обед от Сенака де Мейяна, интенданта из Валансьенна; этому господину и еще нескольким провинциальным буржуа очень хотелось увидеть

своими глазами автора «Совращенного поселянина». Среди приглашенных были также академики из Амьена и редактор «Пикардийского листка». Ретифа посадили между некой госпожой Дени, торговкой муслином, и скромно одетой женщиной, которую он принял за горничную из хорошего дома. Напротив сидел неуклюжий юный провинциал по имени Никодем, а рядом с ним глухой старик, который то и дело вставлял замечания, как на грех не имеющие ни малейшего отношения к предмету разговора. За столом был также маленький опрятный человечек в кафтане из белого камлота, который очень важничал и насмехался над политическими и философскими идеями романиста. Некая госпожа Лаваль, торговка малинскими кружевами, наоборот, защищала его и находила, что у него глубокий ум. Дело происходило в 1789 году, и за обедом говорили об отмене привилегий знати, о церковной и законодательной реформах. Ретиф, видя перед собой доверчивых простаков, решил поразить их эксцентрическими идеями. Глухой совершенно невпопад перебивал его и нес чепуху, человек в белом кафтане вставлял то язвительные, то вполне серьезные замечания. В заключение, по обычаю тех времен, литераторы читали свои произведения. Мерсье прочел отрывок о политике, Легран д'Осси — рассуждение об овернских горах. Ретиф изложил свою физическую систему, которую считал более рациональной, чем Бюффонова, и более правдоподобной, чем Ньютонова. Слушатели пришли в восторг и от системы, и от ее автора. Два дня спустя аббат Фонтене, также присутствовавший на обеде, открыл Ретифу, что он стал жертвой мистификации, но, впрочем, выдержал испытание с честью. Торговка муслином оказалась герцогиней де Люин, торговка кружевами — графиней де Лаваль, горничная — герцогиней де Майи; роль Никодема исполнял Матье де Монморанси, глухого — епископ Отенский, а человек в белом кафтане был не кто иной, как аббат Сийес, который, дабы загладить резкость своих замечаний, прислал Ретифу собрание своих трудов. Эти аристократы ожидали увидеть Жан-Жака для бедных во всей его цинической разнузданности, но взорам их предстал просто хороший рассказчик, подчас чересчур увлекающийся смелыми фантазиями, кавалер не слишком светский и не стесняющийся того, что ест устриц впервые в жизни, но галантный и уделяющий все свое внимание дамам. В самом деле, лишь одно может хотя отчасти оправдать многочисленные грехи писателя, его немыслимый эгоизм и безрассудство, — он всегда любил женщин страстно, безумно, бескорыстно и преданно. В противном случае его книги было бы невозможно читать.

Мы дошли в нашем рассказе до Революции. Философ, надеявшийся затмить Ньютона, социалист, смелостью своей поражавший чопорного Сийеса, не был республиканцем. Ему, как всем утопистам от Фенелона и Сен-Пьера до Сен-Симона и Фурье, был совершенно безразличен политический строй государства. Он был уверен, что коммунизм, лежащий в основе его учения, возможен под властью монарха, а реформы, предложенные в «Порнографе» и «Гинографе», осуществимы под отеческим надзором доброго лейтенанта полиции. Для Ретифа, как для мусульман, монарх олицетворял всемогущее Государство. Громя *подлую собственность* (как называл он ее тысячу раз), Ретиф не был противником личного имущества и допускал передачу его по наследству на определенных условиях; он признавал и потомственное дворянство, но только в тех случаях, когда дети достойны своих отцов.

Во втором томе «Современниц» Ретиф предлагает проект ассоциации рабочих и торговцев без участия капитала — это самый настоящий обменный банк. Вот пример. Двадцать ремесленников, которые производят различные изделия и сами продают их, живут на одной улице в квартале Сен-Мартен. Из-за политических беспорядков в стране не хватает денег, и обитатели этой улицы, некогда столь процветавшей, принуждены пребывать в праздности. Один золотых дел мастер, побывавший в Германии, предлагает идею объединения жителей улицы по образцу немецких общин: никто ничего не продает и не покупает за деньги; все приобретается только в обмен; пусть булочник берет мясо у мясника, одевается у портного и обувается у сапожника; так же должны поступать и все остальные. Каждый волен брать и отдавать больше или меньше, но по смерти любого члена ассоциации все его имущество поступает в общий котел, и все дети имеют равные права на общее добро; детей воспитывают сообща и в одинаковых условиях; они наследуют профессию отца, имея, однако, возможность выбрать иное ремесло, если у них обнаруживаются иные склонности. Поскольку все члены ассоциации получают одинаковое воспитание, все они равны, включая тех, кто имеет свободные профессии. Браки, за редким исключением, совершаются между членами ассоциации. Община оплачивает судебные издержки; выигранные суммы, а также деньги, вырученные от продажи товаров на сторону, идут на покупку различного сырья. Таков этот проект, на котором автор, впрочем, не настаивал, предлагая на выбор несколько различных видов ассоциаций и считая, что наиболее выгодный сам собой вытеснит остальные. Что касается старого общества, то его нет нужды упразднять, поскольку в предстоящей борьбе оно все равно

обречено на поражение.

Меж тем писатель старел; денежные затруднения и семейные неурядицы угнетали его, и он становился все угрюмее. Единственное, что еще связывало его с миром, были вечерние посещения кафе Манури, где он иногда участвовал в жарких спорах о политике и философии. Несколько завсегдатаев этого кафе, расположенного на набережной Эколь, еще живы и помнят его старый синий плащ и грязное пальто, в которое он кутался в любое время года. Чаще всего он сидел в углу и играл в шахматы. Когда било одиннадцать, он, независимо от того, закончена партия или нет, молча вставал и уходил. Куда он шел? На этот вопрос дают ответ «Парижские ночи». В любую погоду Ретиф бродил вдоль набережных, отдавая предпочтение Сите и острову Сен-Луи; он блуждал по грязным улочкам многолюдных кварталов и возвращался домой, вдоволь наглядевшись на беспорядки и кровавые сцены. Часто он вмешивался в эти темные драмы и, как Дон Кихот, вступался за сирых и убогих. Иногда он действовал уговорами, иногда пользовался тем, что его принимали за переодетого полицейского.

Он выведывал у привратников и слуг, что происходит в том или ином доме, проникал в тайны супружеской жизни, ловил с поличным неверных жен, выпытывал нарождающиеся девичьи секреты, а затем, едва изменив имена и обстоятельства, разглашал все, что знал, в своих произведениях. Отсюда тяжбы и раздоры. Как-то раз некий Э., чью жену Ретиф вывел в «Современницах», чуть не убил его. Обычно Ретиф записывал свои ночные наблюдения по утрам. До обеда он успевал написать целый рассказ, а то и больше. В последние годы жизни ему не на что было купить дров, поэтому зимой он работал в постели, а чтобы уберечься от сквозняков, натягивал поверх колпака штаны. Были у него и другие странности, менявшиеся от произведения к произведению и совсем не походившие на изысканные причуды Гайдна и господина де Бюффона. Он то обрекал себя на молчание, как во времена встречи с Кюбьером, то отпускал бороду и говорил насмешникам:

— Я расстанусь с ней только после того, как допишу роман.

— А если в нем будет несколько томов?

— Их будет пятнадцать.

— Значит, вы сбреете бороду только через пятнадцать лет?

— Не беспокойтесь, юноша, я пишу полтома в день.

Какое громадное состояние нажил бы он в наши дни, ведь он писал быстрее самых неутомимых журнальных писак, кропающих один за другим бесконечные романы с продолжением и отважно спускающихся на самое дно общества. Даже почерк Ретифа —

неровный, прыгающий, неразборчивый — говорит о беспорядочности его воображения: мысли теснятся, торопят перо и мешают ему аккуратно выводить букву за буквой. Недаром он терпеть не мог удвоенные согласные и длинные слоги и неизменно сокращал их. Чаще всего ему, как известно, приходилось самому набирать собственные рукописи. В конце концов он приобрел маленькую типографию, где печатал свои произведения с помощью одного-единственного подмастерья.

Революция ничем не могла понравиться Ретифу, ибо вывела на арену политических деятелей, которые не шли дальше подражания грекам и римлянам и были совершенно неспособны оценить его филантропические прожекты и планы переустройства общества. Только Бабеф мог бы осуществить эти мечты, но Ретиф, к тому времени уже разочаровавшийся в собственных идеях, не проявил ни малейшего сочувствия к партии коммунистического трибуна. С появлением ассигнаций все сбережения Ретифа (а у него было не меньше семидесяти четырех тысяч франков) пошли прахом, но народ не проявил такой щедрости, как придворные и вельможи, и не стал собирать для него деньги по подписке. Правда, Мерсье, с которым Ретиф по-прежнему дружил, добился для него премии в две тысячи франков за высоконравственное произведение и даже предложил его кандидатуру во Французский институт, но услышал высокомерный ответ:

— Ретиф де Ла Бретонн не лишен таланта, но у него совсем нет вкуса.

— Но, господа, — парировал Мерсье, — кто из нас может похвастать талантом?

Многие страницы последних книг Ретифа посвящены революционным событиям. В пятом томе «Драмы жизни» есть несколько диалогов времен Революции. Жаль, что он не всегда пользовался этим приемом. Ничто так не захватывает, как эти картинки с натуры. Вот, например, одна из сцен; дело происходит 12 июля перед кафе Манури:

«Мужчина, несколько женщин. Ламбеск! Ламбеск!.. В Тюильри убивают!

Торговка лотерейными билетами. Куда же вы бежите?

Бегущий человек. Уводим домой наших жен.

Торговка. Так пусть они бегут одни, а вы возвращайтесь.

Ее жених. Скорей, скорей, назад!»

И всё. Но в этих пяти репликах звучит жестокая правда: драгуны Ламбеска свирепствуют, двери закрываются — картина мятежа, ставшая обычной для Парижа.

Далее Ретиф выводит на сцену Колло д'Эрбуа и поздравляет его с «Поселянином-судьей». Но Колло занят одной политикой.

«— Я стал якобинцем, — говорит он. — А вы почему не якобинец?

— Из-за трех очень тяжких недугов…

— Это уважительная причина. Что до меня, то я всей душой предался общественной деятельности, и ни время мое, ни труды не пропадут даром. Я намерен примкнуть в Робеспьеру; это великий человек.

— Да, несомненно».

Колло говорит:

«— Я умею произносить речи, я умею себя подать, я умею выражать свои мысли с изяществом. У меня есть потрясающая идея. Я только что закончил „Альманах отца Жерара“ — замечательное название. Я постараюсь получить премию за просвещение крестьян, имя мое прогремит по всем департаментам, какой-нибудь из них назовет меня своим представителем…»

Разве это не исчерпывающий портрет Колло д'Эрбуа? Но Ретиф не ограничивался лаконичными характеристиками; с беглыми набросками соседствуют в его сочинениях страницы, достойные войти в историю, — например, те, которые посвящены Мирабо и озарены светом этой незаурядной личности.

РЕТИФ У МИРАБО

Разговор Ретифа с Мирабо — одна из самых интересных глав в «Мемуарах господина Никола». Автор, страстный любитель псевдонимов, выступает здесь, как и в некоторых более ранних произведениях, под именем Пьера. «Войдя к Мирабо, — вспоминает он, — я увидел человека, который долго таил свои чувства и теперь рад излить душу». Ретиф сказал ему, что сомневается в праведности революции, начавшейся с убийств.

«Я тугодум, — добавил он, — и выказываю храбрость только по зрелом размышлении, отрубленные головы меня испугали… увидев, как две дюжины негодяев волокут тело Бертье, я содрогнулся и стал ощупывать себя, чтобы убедиться, что это тащат не меня… Однако при виде разрушенной Бастилии я испытал прилив радости… Эта ужасная Бастилия внушала мне страх!»

«Тут, — продолжает Ретиф, — Мирабо в восторге пожал мне руку.

— Взгляни на меня, — сказал он, — у всех французов вместе взятых меньше жажды действия, чем было в этой голове, увы! теперь она уже не та!.. Это я отдал приказ взять Бастилию, убить де Лоне и Флесселя… Это по моему настоянию король 17 июля приехал в Париж, по моему распоряжению его охраняли, встречали, чествовали… это я, видя, что народ стал утрачивать энтузиазм, приказал одному из своих людей арестовать в Компьене Бертье и привезти в Париж, а накануне его приезда осудил на смерть его тестя, старого Фулона, заставив его искупить грехи министров-тиранов… это я приказал нести голову Фулона на вилах навстречу Бертье — не затем, чтобы отравить последние минуты несчастного, но затем, чтобы этой жестокостью *вдохнуть новые силы* в вялых и легкомысленных парижан… Ты знаешь, что благодаря мне д'Артуа, Конде и их присным — всем этим ничтожным царедворцам и бесстыдным куртизанкам — пришлось бежать, все это дело моих рук, и если революция в конце концов победит, то в один прекрасный день в мою честь воздвигнут храмы и алтари. Помни о том, что я сказал тебе сегодня… Задавай же свои вопросы, я отвечу на них, если сочту нужным.

— А Версаль пятого и шестого октября?

— Версаль! — вскричал Мирабо. Он помолчал, меряя комнату быстрыми шагами. — Версаль! Это мой шедевр… Ну, что же ты?

— Я слушаю тебя и клянусь в нерушимом молчании!

— Не знаю, что ты хочешь сказать, у тебя ведь своя терминология: ты нарушаешь не молчание, а грамматику!.. Знай, это я заставил переехать в Париж Национальное собрание, и короля, и двор. Герцог Орлеанский не имел к этому никакого отношения, хотя расплачиваться пришлось ему… Подумать только, какими смехотворными сведениями располагал подлый Шатле, назначенный мною для разбирательства преступлений против нации, — из него могло бы выйти что-нибудь путное, не будь судьи престарелыми болванами!.. Страшная, но поучительная казнь Фулона и Бертье (она-то и вызвала всеобщий ужас, Бастилия, де Лоне и Флессель испугали только двор) — эта казнь взорвала всю подлую олигархию священников, судейских крючков и даже духовных судей, во главе которой хотел встать мой брат: когда наши родители зачинали беднягу, мой отец мнил себя писателем, а мать пила горькую, поэтому и он не просыхает… Я давно предчувствовал, что, оставаясь в Версале, в окружении королевских и швейцарских гвардейцев, которые от любой улыбки, от ничтожной милости могут переметнуться на сторону двора, мы многого не достигнем; я уладил это дело недрогнувшей рукой. Я не покушался ни на чью жизнь, я хотел, чтобы народ пресытился анархией, как во время пятидневного междуцарствия у древних персов, — тогда я вернул бы трон королю, а сам стал бы при нем временщиком… Но из-за мелюзги вроде распутниц с улицы Жан-Сен-Дени начались беспорядки. Я сумел пресечь их с помощью своих посланцев. Среди этих несчастных нашлись такие, которые вздумали угрожать королеве; узнав об этом, я приказал незаметно убрать их. Волнения захватили весь Париж, всех его обитателей, порядочных, непорядочных, малопорядочных, шлюх, замужних женщин и юных девушек, храбрецов и трусов, даже малыш Нугаре из Ла-Рошели не захотел отставать от других и устремился вслед за егерем Жоссом, в недавнем прошлом книгопродавцем… Я хохотал от всего сердца, мне казалось, будто я вижу бой ослов перед входом в кабак, — прости мне мое гаерство, быть может последнее в жизни, меня подвигло на него скопище дурных актеров… Камиль Демулен рядом с Дюрозуа, Руаю в роли портняжки, Жоффруа в роли сапожника, аббат Понселен — трубочист, Малле дю Пан — кладбищенский писарь, Дюссье и Сотеро — колбасники, аббат Ноэль и Ривароль — цирюльники…»

Перечисление продолжается, превращаясь в сатиру на авторов того времени; в нем появляется даже некая *авторица,* которая, сидя верхом на пушке, кричит: «Моя роза первому герою!» «У вас их миллион?» — осведомляется какой-то энтузиаст. Себя Мирабо сравнивает с Жаном-Зубодробителем, а

после шутовского рассказа о своих подвигах он сетует на то, что враги подкупили его любовницу, молоденькую еврейку по имени Эстер Номит… «Но мне все известно, — добавляет он, — и я обманываю Далилу вместе с филистимлянами».

Затем разговор перекидывается на отмену привилегий знати и церковную реформу; беседа перемежается паузами и странными a parte[14], как в «Племяннике Рамо». Мирабо пускается в долгие рассуждения; время от времени он останавливается, чтобы перевести дыхание, и говорит собеседнику: «Ну что же ты, продолжай, я слушаю… я ведь знаю, ты любишь поболтать…» Но не успевает Ретиф раскрыть рот, как Мирабо уже кричит: «О глупец!.. Бедняга! Когда-то ты был более красноречив!» Затем он принимается рассуждать об имуществе церкви и жалуется, что его противник аббат Мори не проявил в выступлении по этому вопросу должного таланта. «Вот что сказал бы на его месте я!» — восклицает он и, мечась по комнате, как лев по клетке, произносит речь от имени аббата Мори. Он настолько входит в роль, что время от времени замолкает, удивляясь, почему не слышно рукоплесканий. Он сам аплодирует себе, рыдает над придуманными им самим убедительными доводами противника, потом, когда волнение, в которое он сам себя привел, стихает, отирает пот со лба, взлохмачивает свою черную гриву и говорит: «А если бы у Мори хватило ума говорить так, я ответил бы ему вот что…» Новая речь длится час; заключительная ее часть начинается словами: «Итак, господа, буду краток…» В конце концов он замечает, что надрывал легкие ради одного-единственного слушателя, и разражается смехом.

Беседа возвращается в прежнее русло; разговор заходит о Неккере:

«Он прославился, потому что ему случайно выпала славная роль… Впрочем, и в этой роли он выглядит ничтожнее, чем в обычной жизни, — как всякая посредственность… Его призвание — быть старшим приказчиком, эта должность, возможно, оказалась бы ему по плечу, ибо он не был бы на виду. А ныне он имеет весьма жалкий вид — не способный на решительные действия, он малодушно встает на сторону знати, которая его ненавидит и презирает. Он удивлен тем, что совершил, — вечный удел дураков и мелких негодяев… Сам посуди, какое презрение испытываю к подобного рода людишкам я — я, который мог бы пойти один против целого миллиона! Эх! Сколько в Национальном собрании людей, которые кажутся похожими на Мирабо, но, лишившись поддержки депутатов, сразу превратились бы в Неккеров!.. Нет, друг мой, среди них нет никого, кто мог бы совершить в одиночку столько, сколько

совершил я. Когда судьба самовластных министров оказалась в моих жилистых руках, я схватил их за глотку, я сказал им: „Борьба не на жизнь, а на смерть! Или я, или вы!“ Я был уже близок к победе… Но они подставили мне подножку…

— В самом деле, дорогой Рикетти, — отвечает Ретиф, — вы, я думаю, были бы великим министром!.. На этом посту вы могли бы обрести самую высокую славу: славу ревнителя народного блага!..

— Так, значит, и ты затвердил эти прописные истины, которые обожают наши горе-философы! Народ, народ! Народ существует ради достойных людей, которые являют собой мозг рода человеческого: он должен обретать счастье только нашими стараниями и ради нашего блага. Моисей был мозгом евреев, Магомет — мозгом арабов, Людовик XIV при всей своей ничтожности целых сорок лет был мозгом французов… А ныне мозг французов — это я.

Тут Ретиф спрашивает его, является ли свобода благом для отдельной личности.

— Свобода, — отвечает Мирабо, — не идет на пользу детям, дуракам, сумасшедшим… людям, которые не сошли с ума окончательно, но утратили способность здраво судить о вещах, — таковы все мерзавцы, придурки и злодеи, — а также людям слишком страстным, каким случалось бывать и мне, — игрокам, развратникам, пьяницам, одним словом, трем четвертям человечества!..

— *Республицизм,* — добавляет он, — как его понимают Робеспьер и некоторые другие, — это анархизм, утопия. Те, кто стоит во главе нашего Национального собрания, опираются на людей ничтожных. Камиль Демулен кричит, злословит, вечно бунтует, плохо говорит, хорошо пишет, Дантон, темная лошадка, — плут, эгоист, законченный негодяй, каким кое-кто считает меня. Бывший капуцин Шабо, который мечется, суетится, крутится как белка в колесе, — тоже интриган, Гранженев — человек порядочный, но чересчур экзальтированный… О! как мне жаль нацию, которой будут править эти безумцы! Как мне жаль нацию, которая попадет во власть ничтожеств, заполонивших Национальное собрание! Толпа прокуроров и адвокатов, Шапелье, Сюмаков и прочая, и прочая отравляют Собрание своими кознями и ябедами… Друг мой, если меня не станет, сколько зла наделают эти торговцы пухом и пером!.. Попомните мои слова: если волею случая этот презренный болван Робеспьер победит своих соперников, он тут же даст волю своей чопорности, мстительности, жестокости… Только я один мог бы его остановить…»

Вскоре после этой встречи Мирабо умер. «Меня не допустили к нему, когда он был при смерти, — пишет Ретиф, — потому что я не был известен его друзьям во главе с господином Кабанисом… Ах, будь жив Преваль, Мирабо бы не умер!» Преваль был врач, не раз спасавший жизнь Ретифу.

Ретиф считал смерть Мирабо причиной окончательного падения монархии. Лишившись этой последней поддержки — поддержки, конечно, корыстной, поскольку Мирабо рассчитывал стать своего рода *временщиком,* — Людовик XVI и Мария-Антуанетта решились бежать за границу… «Этот человек, — говорит Ретиф в другом месте, — был последней надеждой родины, его пороки могли спасти ее… а добродетели глупцов вроде Шамийяра и д'Ормессона ее погубили». И, возвращаясь к собственным невзгодам — потере семидесяти тысяч франков из-за обесценения ассигнаций, — Ретиф с горечью вспоминает слова Мирабо: «Я бы засек хлыстом из бычьих жил всякого, кто торгует деньгами, и сжег заживо или растолок в ступе всякого, кто обесценивает ассигнации».

СТАРОСТЬ РОМАНИСТА

В эту эпоху Ретиф часто бывал в Пале-Руояле; там образовалась своего рода биржа, где можно было узнать курс ассигнаций. Состояние писателя таяло на глазах, и вместе с ним таяли надежды на благоприятный исход событий; последние тома «Парижских ночей» полны проклятий по адресу биржевых игроков, которые взвинчивают цены на золото, лишая какой бы то ни было цены республиканские ассигнации. Из Пале-Руояля Ретиф обыкновенно шел в «Погребок» — средства уже не позволяли ему посещать кафе Манури. Изредка ассигнации вдруг поднимались в цене — тогда он приглашал нескольких дам сомнительной репутации на ужин во «Фламандский грот», где еще можно было устроить шумное пиршество задешево. Из-за жизненных невзгод разум его порой мутился, и тогда он готов был во всякой красотке со стройными ножками в изящных туфельках видеть плод одной из многочисленных побед своей юности. Вероятно, красотки нередко злоупотребляли этой навязчивой идеей, чтобы добиться от новоявленного папаши подарков и приглашений на ужин.

Неразговорчивый и очень осторожный в беседах на политические темы, Ретиф благополучно пережил эпоху Террора. Он знал цену людям и презирал партийные распри. Происходившее на его глазах ни в коей мере не отвечало его чаяниям. О коммунизме не было и речи; самое большее, на что отважились якобинцы, — на идею о перераспределении имущества, то есть об иной форме собственности — собственности раздробленной, общедоступной. Что касается пантеизма, то кто думал о нем, кроме горстки ясновидцев?.. Кругом были одни безбожники. Устроенное Робеспьером празднество Верховного существа показалось Ретифу весьма слабой попыткой философического обновления, и все же он испытал некоторое сожаление, когда Робеспьера свергли люди, которые были *еще хуже.* С этого времени кумиром Ретифа стал Бонапарт. В мистических творениях последних лет писатель называет его духом согласия, явившимся с планеты Сириус, дабы спасти Францию. Понять это странное утверждение можно, лишь имея представление о последней книге Ретифа «Письма из могилы», вышедшей под именем Казота.

В основу двух первых томов этого произведения, которые, как утверждает Ретиф в «Мемуарах», были частично написаны Казотом, положена замечательная идея графини де Богарне. Молодой человек по имени Фонтлет влюблен в жену судьи; судья

очень стар, и жена, жертва брака по расчету, намеревается после его смерти выйти замуж за Фонтлета. Молодой человек томится в ожидании; в приливе отчаяния он решает покончить с собой и принимает опиум. Тут-то и приходит известие о смерти судьи. Вне себя от горя юноша бежит к врачу, и тот дает ему противоядие. Фонтлет радуется, что спасен; вскоре он женится на любимой, но через несколько дней после свадьбы его охватывает непонятная слабость. Он обращается к врачам. Оказывается, яд продолжает свою разрушительную работу и жить больному осталось не больше года. Его не так страшит смерть, как мысль о расставании с молодой женой; конечно, она порядочная женщина, но что помешает ей снова выйти замуж? Тогда ему приходит в голову диковинная мысль — удалиться от жены и постараться, чтобы она не знала о его смерти. Несчастный просит министра послать его в Италию и отправляется во Флоренцию, якобы по делу государственной важности. Под разными предлогами он продлевает свое пребывание там, и все это время сочиняет письма к жене, делая вид, что написаны они из разных мест и в разное время, как если бы его постоянно посылали из страны в страну, не давая возможности вернуться домой. Верные друзья в самом деле несколько лет шлют эти письма бедной вдове, не ведающей о своем вдовстве. Загробный корреспондент хотел доказать жене, увлеченной модными материалистическими идеями, лишь одно: душа переживает тело и в иных сферах вновь встречается с любимыми существами. Таков сюжет романа, который был бы очень хорош, если бы Ретиф, язычник-спиритуалист, не черпал большую часть своих доводов в учениях индусов и египтян. Душа у него то переселяется через тысячу лет в другое тело, как у древних, то поднимается к светилам и находит там бесчисленные круги рая, как у Сведенборга, то растворяется в эфире, а затем превращается в крылатого ангела, как у Дюпона де Немура; но ни одну из этих гипотез Ретиф не разделяет полностью, у него есть собственная система — целая космогония, в которой немало сходного с системой Фурье. Персонаж по имени Мультиплиандр обрел чудесную способность, освободив душу от телесной оболочки, посещать другие планеты и звезды, а при желании вновь возвращаться в человеческое *рубище.* Он обосновался в гроте, затерянном среди альпийских снегов; натеревшись особыми мазями, он влезает в крепкий ларь, где его не тронут медведи, и приводит себя в состояние экстаза и бесчувственности, в каком некоторые индийские дервиши, по слухам, пребывают месяцами. Далее следует описание планет, солнц и комето-планет, не уступающее в смелости нынешним головокружительным гипотезам. Описание это весьма курьезно;

хотя автор несомненно знаком с научными теориями, Луна у него лишена атмосферы, на Марсе обитают рыбы с хоботами, а на Солнце живут люди такого гигантского роста, что путешественник не находит иного собеседника, кроме клеща, который разгуливает по одежде солнечного жителя: это насекомое имеет всего одно лье в высоту, а умом хотя и превосходит людей, но все же ушло от них не слишком далеко. Клещ объясняет Мультиплиандру, что Верховное существо не что иное, как огромное главное солнце, мозг мира, дающий жизнь остальным солнцам; каждое из них живет, мыслит и порождает комето-планеты, то есть выталкивает их в пространство, почти как астра в наших садах роняет свои семена. Комето-планеты похожи на то, что сегодня называют туманностями, — они плавают в эфире, как рыбы в воде, совокупляются и производят на свет мелкие астероиды. Умирая, они останавливают свой бег и превращаются в спутники или планеты. В этом состоянии они пребывают несколько миллиардов лет; растения, животные и люди — суть продукты их разложения. По мере того как гниение усиливается, виды приходят в упадок; постепенно планета окончательно разлагается или усыхает и рано или поздно становится добычей какого-либо солнца, которое ее пожирает, дабы возродить ее элементы в новой форме. Этим познания солнечного клеща исчерпываются, но и то, что он рассказал, решительно выходит за грани человеческого разумения. В конце романа Мультиплиандр выводит породу крылатых людей, которыми намеревается населить землю. Впрочем, большая часть гипотез, изложенных в этой книге, уже была осмеяна в «Микромегасе» и «Гулливере»; только благодаря этому ее можно читать.

Пожалуй, ни один из сочинителей не обладал таким мощным воображением, как Ретиф. И тем не менее ему всю жизнь приходилось бороться с безразличием публики. Горячее сердце, живое перо, железная воля — всего этого недостаточно, чтобы стать хорошим писателем. Энергии Ретифа хватило бы на нескольких людей; терпения и решительности — на нескольких авторов. Дидро был сдержаннее, Бомарше искуснее, но посещало ли их то пылкое и трепетное вдохновение, которое не всегда порождает шедевры, но без которого шедевры не появляются на свет? Всякому знаком стиль Ретифа, ибо всякому случалось раскрыть хотя бы один из его романов, пусть в этом и не принято сознаваться. Словно Энниево жемчужное зерно среди навоза, в книгах его нет-нет да и сверкнет фраза, достойная классиков. Одну из таких фраз мы уже приводили: «Добронравие как ожерелье; стоит развязать нитку — и оно рассыплется». Ретифу

ничего не стоит создать портрет одним росчерком пера: «Мирабо служил патриотам, как Сантей хвалил святых, — скрепя сердце». Когда ему не хватает слова, он его придумывает, порой удачно. Так, под его пером рождаются *цитерическая* улыбка, *малюточностъ* женщин… *«Я химерствовал,* — пишет он, — в ожидании счастья».

Ища истоки творчества Ретифа де Ла Бретонна, скажем, что экстравагантность его гипотез восходит к Сирано де Бержераку, склонность морализировать, прибегая к грубоватым шуткам и каламбурам, роднит его с Фюретьером, а дерзкая галльская безнравственность сближает с д'Обинье; однако, в отличие от предшественников, он совершенно не знал меры и то грешил манерностью и жеманством, то называл своими именами вещи, о которых было бы лучше умолчать. Как Вольтер, к чьей школе он себя с гордостью причислял, он терпеть не мог критиков, газетных *писак*, и часто нападал на них, не стесняясь в выражениях. Он называет их то *бесчестными плутами,* то *бессердечными развратниками;* Лагарп у него — *глупое животное*, которому место в сточной канаве, Фрерон — *болван*, Жоффруа — *педант.* Де Марси, издатель «Альманаха муз», которого оставил равнодушным «Совращенный поселянин», — просто *скотина.* Конечно, всем этим кличкам далеко до тех «любезностей», на которые был щедр Фернейский старец, но Ретиф не мог позволить себе такие резкие высказывания. Однако он нападал даже на тех критиков, которые отнеслись к нему вполне благосклонно, так что в конце концов его окружил заговор молчания. Пришлось ему самолично сообщать о выходе своих книг, самолично издавать и продавать их. Книготорговцы его недолюбливали, потому что стоило ввести его в дом, как он начинал разглашать секреты их жен, волочиться за их дочерьми, рисовать их портреты и рассказывать об их любовных похождениях. Анаграммы, к которым он охотно прибегал, были слишком прозрачны и отнюдь не всегда могли сбить любопытных с толку. Меригот у него превращался в Торигема, Венте — в Этнева, Костард — в Дратсока и т. д. Поэтому ничего удивительного, что на его последних книгах стоит простое указание: «Напечатано в собственной типографии автора и продается у Марион Ретиф, улица Бюшери, 27». Все сказанное отчасти объясняет, почему его последние произведения не имели успеха и почему он решил издать самое замечательное из них, «Письма из могилы», под именем Казота, которому, впрочем, принадлежит частично замысел этого произведения, насквозь проникнутого мистицизмом.

Ходили слухи, будто Ретиф умер в нищете. Это неверно. В

самом деле, когда ассигнации резко упали в цене, он потерял свои сбережения; во время Революции он выручал от продажи своих книг сущие пустяки, да и те уходили на содержание семьи. Однако несколько друзей: Мерсье, Карно и госпожа де Богарне — поддерживали его в самые трудные минуты, а когда положение в стране стало более спокойным, друзья выхлопотали ему доходное место, и до самой смерти (он умер в 1806 году) он получал четыре тысячи франков в год.

В 1811 году Кюбьер-Пальмезо опубликовал произведение Ретифа под названием «История подруг Марии». В первом томе напечатана принадлежащая его перу биография Ретифа, остроумная и во многом справедливая. Кюбьер приводит один штрих, доказывающий, что, будучи коммунистом, Ретиф не был врагом монархии. Один из его старых друзей стал членом Конвента. В день суда над Людовиком XVI Ретиф ждал своего друга у выхода из залы Национального собрания:

— Вы голосовали за смерть короля?

— Нет.

— Ваше счастье, а то бы я размозжил вам голову.

Полное собрание сочинений Ретифа де Ла Бретонна занимает более двухсот томов. В нашем повествовании мы не упомянули о нескольких романах-памфлетах, например о «Неверной жене» и «Простушке Саксанкур»; первый из них направлен против жены писателя Аньес Лебег, второй — против его зятя Оже. Под конец жизни неудержимое стремление выносить на суд публики свои семейные распри превратилось у романиста в настоящую болезнь из тех, что медики относят к разновидностям ипохондрии. Понятно, что от человека в таком расположении духа нечего ждать справедливости. Это поняла даже его жена: в письме к Кюбьеру, который спрашивал ее о характере Ретифа, она только и говорит что о его доброте и любви к человечеству, хотя у него, как почти у всех утопистов, чувства эти отнюдь не всегда распространялись на друзей и близких.

Мы рассказали, быть может даже слишком подробно, об одном из тех людей, чья жизнь помогает понять нравственные причины, приведшие нас к Революции. Катаклизмы выбрасывают на поверхность неведомые материи, таинственные субстраты, уродливые создания, которые насыщают любопытство, порождают смелые гипотезы, изумляют ум, видящий в них семена нового мира. Однако эта плесень, следствие болезни, продукт разложения, бессмысленная смесь разнородных субстанций — шаткая опора для грядущих поколений; было бы безумием верить в нее. Разум человеческий уподобился бы в этом случае блуждающим огням — кажется, будто они мерцают среди

обширных лугов, а между тем под этим роскошным травяным покровом таится смрадная трясина. Подлинный гений твердо стоит на земле и если на мгновение вглядывается в туман, то лишь для того, чтобы озарить его своим светом и рассеять своими мощными лучами.

Еще не родился человек высшего ума и сердца, который, постигнув истинную меру вещей, примирил бы враждующие силы и вернул покой потрясенным душам. Мы по-прежнему являемся жертвами бездарных софистов, которые в тысяче форм развивают идеи, даже не являющиеся их собственным изобретением. С ними заодно и расплодившиеся в последнее время наблюдатели и аналитики средней руки, которые изучают дух человеческий только в его ничтожных или болезненных проявлениях и, с удовольствием углубляясь в изучение всякой патологии, взирают на уродливые аномалии, следствия разложения и болезни, с такой любовью и восхищением, с какой естествоиспытатель созерцает самые прелестные разновидности нормальных существ.

Пример частной жизни и литературной деятельности Ретифа де Ла Бретонна доказывает, что нет подлинного характера без нравственности, как нет гения без вкуса. Искренность его раскаяния и несчастья, которыми он поплатился за свои дурные поступки, искупают, как нам кажется, нескромность иных его признаний. Жизнь Ретифа поучительна именно в ее целокупности: излишняя сдержанность повредила бы ее нравственному действию.

notes

Примечания

1

Перевод М. Гринберга.

2

Любопытно, что Гёте, ставший впоследствии, как и Ретиф, пантеистом, в детстве тоже приносил жертву Предвечному. — *Здесь и далее прим. автора, кроме специально оговоренных случаев.*

3

Кош — судно для перевозки пассажиров и грузов. — *Прим. перев.*

4

Много лет спустя, во времена Республики, автор с нежностью вспоминал свою первую любовь. «Гражданин читатель! — писал он. — Жаннетта Руссо, этот ангел, сама того не ведая, решила мою судьбу. Не думайте, что я прилежно учился и преодолел все трудности потому, что обладал силой и мужеством. Нет! Я всегда был малодушен, но в сердце моем жила настоящая любовь: она дала мне силы возвыситься над собой и прослыть храбрецом. Я сделал все, чтобы стать достойным этой девушки, чье имя и ныне, спустя сорок шесть лет, ныне, когда мне уже исполнилось шестьдесят, приводит меня в трепет… О Жаннетта! Если бы ты была рядом со мной, я бы сравнялся с Вольтером и намного превзошел Руссо! Одна только мысль о тебе облагораживала мою душу. Я был уже не я; я становился человеком деятельным, пылким, боговдохновенным».

5

Позже он писал: «Если бы не трудолюбие, я стал бы негодяем».

6

Но чему ты смеешься?.. Не твоя ли история это? (*лат.;* Гораций. Сатиры. 1,1, 69–70; пер. М. А. Дмитриева). — *Прим. перев.*

7

В одном из рассказов об этом приключении Ретиф де Ла Бретонн утверждает, что за ним следили и, если бы он пошел следом за таинственной незнакомкой, его бы непременно убили. Впоследствии он якобы получил этому подтверждение.

8

Перевод М. Гринберга.

9

Никола Ретиф сохранил в памяти все подробности этого дня, последнего счастливого дня своей жизни.

10

Через пятнадцать лет писатель говорил, вспоминая эту тревожную ночь: «Тогда во мне еще не проснулась ревность!»

11

Перевод М. Гринберга.

12

«Драма жизни», том 5, стр. 1251 (по воле автора все тома этого издания имеют сквозную нумерацию).

13

Через несколько лет, приобретя еще большую известность, Ретиф получил от Иосифа II титул барона и грамоту в табакерке, украшенной портретом императора. Грамоту писатель отослал обратно, а портрет государя-философа сохранил.

14

Реплика в сторону *(ит.)*.